

В. Н. БУНИНА

БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ

Предисловие и публикация А. К. Бабореко

Вера Николаевна Бунина (рожд. Муромцева, 1881—1961) провела детство и годы юности в Москве в среде старой московской интеллигенции. По окончании гимназии она поступила на естественный факультет Высших женских курсов проф. В. И. Герье (в 1900 г. эти курсы, закрытые в середине 1880-х годов правительством, возобновили свою деятельность). В конце 1906 г. Вера Николаевна познакомилась с Буниным и в начале следующего года стала его женой (но они не могли обвенчаться, так как первый брак Бунина не был расторгнут официально)¹. С этого времени и до самой смерти писателя она делила с ним его беспокойную скитальческую жизнь.

В. Н. Бунина обладала несомненными литературными способностями, которые проявились и в художественных переводах (она переводила Флобера — «Сентиментальное воспитание», «Искушение святого Антония»), и в мемуарной прозе. После смерти Бунина она отдала все свои силы созданию его жизнеописания. Первым результатом ее труда явилась книга «Жизнь Бунина» (Париж, 1958). Основываясь на материалах бунинского архива, на устных рассказах Бунина, используя доступные ей русские книги и журналы, она создала ценный биографический свод, в котором изложение доведено до 1906 г. включительно — до встречи Бунина с нею.

Продолжение задуманного труда было намечено ею в мемуарном жанре — новая книга, к работе над которой она приступила тогда же, получила название «Беседы с памятью». По замыслу автора они должны были охватить жизнь Бунина почти за 12 лет — с 1906 до 1918 г. Но смерть оборвала эту работу на середине: последняя из известных нам глав посвящена событиям 1910 г.²

«Беседы с памятью» дают возможность представить многие характерные черты Бунина. Веру Николаевну поражало в нем то, что он «ни на кого не похож». У него острый, саркастический ум, его суждения о людях метки, точны, выразительны, порой язвительны — дар юмориста и имитатора придавал его речи особенную живость и остроту. Бунин в изображении Веры Николаевны не холодный «эстет», сухой в обращении с людьми, каким он казался иным, а живой, страстный человек, в нем было много душевного тепла и доброты, но он не перед каждым раскрывался, был внутренне сдержан. Он любил повторять слова отца: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». «Я знала, — пишет Вера Николаевна, — каким обаятельным и неистощимым в веселье бывает он, когда ему приятно общество». Это важнейший мотив «Бесед с памятью»: дать настоящего, живого Бунина. Вера Николаевна необычайно искренняя и правдива. В нарисованном ею портрете Бунина свет и тени распределены с подкупающей убедительностью, и, читая ее мемуары, выносишь главное впечатление, что Бунину была свойственна большая внутренняя сложность. Она рассказывает о том, что знала лучше кого бы то ни было: какая у него «нежная душа», подчеркивает это и далее, передавая свою беседу с его матерью при первой встрече с нею в Ефремове в 1907 году; но из ее же рассказа мы видим, как часто он бывал неуступчив. Он был вообще человеком не легким в повседневном общении.

Немало внимания уделяет Вера Николаевна особенностям таланта Бунина. Из «Бесед с памятью» мы видим, каким редким зрением [он обладал, — той тонкой способностью подмечать и воспроизводить в слове характерные детали, которая придает необычайную силу изобразительности его прозе и стихам. Бунин предстает в мемуарах Веры Николаевны писателем, превосходно знающим природу, деревню, мужиков, мещан, провинциальных, обедневших дворян, — их быт, их язык.

Бунин делился с нею замыслами своих произведений, и мы узнаем из ее воспоминаний, при каких обстоятельствах написаны те или иные стихи или рассказы, кто послужил для них прототипом.

«Беседы с памятью» — не только воспоминания о Бунине и о пережитом в пору совместной жизни с ним, это также рассказ о литературной, а отчасти и театральной жизни Москвы, Петербурга, Одессы начала века. Она пишет о московском Литературно-художественном кружке, о чтении писателями своих новых произведений в Обществе любителей российской словесности и на заседаниях «Среды». Литературные вечера, юбилеи, премьеры пьес Андреева, Найденова, Юшкевича, поездки в редакции петербургских журналов, встречи с Куприным, Вересаевым, Андреевым, Телешовым и др. Целую главу она посвятила жизни на Капри в 1909 году, встречам с Горьким, Луначарским; она превосходно описывает быт русской колонии, центром которой был Горький, передает господствовавшее тогда в этой среде настроение благожелательного отношения друг к другу. Обо всем этом рассказано талантливо, обстоятельно и точно, — не только по памяти, но и по записям тех далеких лет и по письмам близких ей и Бунину людей, которые Вера Николаевна приводит по автографам, нам недоступным.

По свидетельству людей, близких к семье Буниных, Вера Николаевна в течение всей своей жизни вела дневники, которые ей удалось сохранить³. Работая над мемуарами, она, не полагаясь только на свою память, использовала свои дневниковые записи, сделанные по свежим следам пережитого и виденного. Это придает ее воспоминаниям большую достоверность и точность, они представляют собой первоклассный биографический источник.

«Беседы с памятью» состоят из следующих глав: «Наши встречи», «Новая жизнь», «Путь до Святой земли», «Сирия, Галилея, Египет», «Первые впечатления от Васильевского», «Будни в Васильевском», «У Буниных в Ефремове», «Глотова», «Встречи с писателями в 1907—1908 гг.», «Италия»⁴. Все они, за исключением «Глотова», публиковались за рубежом в 1955—1961 гг. Рукопись «Глотова» находится в ЦГАЛИ.

Общий объем воспоминаний В. Н. Буниной составляет приблизительно 13 авторских листов. Ввиду невозможности поместить «Беседы с памятью» в настоящем томе полностью, нами печатаются ниже три главы, посвященные преимущественно литературной жизни Москвы 1906—1908 гг., участию Бунина в «Среде» и в Литературно-художественном кружке, его встречам с Горьким, Л. Андреевым, Куприным, Телешовым и другими писателями. Эти главы («Наши встречи», «Встречи с писателями в 1907—1908 гг.», «Италия») воспроизводятся по текстам первых публикаций.

Вера Николаевна подписывала свои литературные труды двойной фамилией: Муромцева-Бунина. В настоящем томе она называется только по фамилии мужа — В. Н. Бунина.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Обвенчались они в Париже, в 1922 г.

² Рукописи двух последних глав («Возвращение домой» и «1910 год») были затеряны, как сообщил Л. Ф. Зуров, еще при жизни Веры Николаевны. В 1961 г. им в бумагах покойной были найдены разрозненные черновики утраченных глав, по которым он восстановил их (письмо Л. Ф. Зурова автору настоящего предисловия — декабрь 1961 г.). В 1962 г. они были опубликованы им.

³ Об этом писал, например, Н. Я. Родин — см. его очерк о вилле «Бельведер» (настоящ. кн., стр. 437).

⁴ О последних двух главах см. примеч. 2.

«О память, ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастья мгновения легкокрылы,
Давно протекшие, в мечтах мне снова милы»¹.

НАШИ ВСТРЕЧИ

1

С Иваном Алексеевичем я знакомилась трижды, о двух первых встречах я упомянула в «Жизни Бунина»². Они были мимолетны. Пишу теперь о третьей.

Избежав на четвертый этаж, я, чтобы перевести дух, остановилась у приотворенной двери квартиры Зайцевых и увидала в передней груды верхней одежды. Доносилось невнятное чтение Вересаева.

Досадно: опоздала, придется простоять в дверях кабинета до окончания чтения.

В кабинете хозяина было тесно: сидели на тахте, на стульях, на письменном столе, даже на полу. Много знакомых лиц: дородная высокая фигура поэта Кречетова, редактора журнала «Перевал»³; красивый профессор П. К. Иванова⁴; с отрочества знакомое лицо Пати Муратова⁵; ироническая улыбка Саши Койранского⁶, говорящая о его отношении к рассказу; застенчивый аскетический силуэт поэта-философа Диесперова⁷; ассирийская борода поэта Муни⁸; небольшой, худой литератор Борис Грифцов⁹, муж моей знакомой, в девичестве Кати Урениус.

В комнате полумрак, освещена только рукопись на маленьком столике. Всех не могу разглядеть. Несколько склоненных женских голов в разнообразных прическах, несколько устремленных вверх лиц.

После Вересаева быстро занял его место Бунин, и я услышала опять его хорошо поставленный голос.

Читал он просто, но каждый стих вызывал картину. Стихи были из его последнего третьего тома, выпущенного издательством «Знание», или совсем новые: «Сапсан», «Панихида», «Цветные стекла», «Один», «Густой зеленый ельник у дороги...», «Растет, растет могильная трава...», «Проснусь, проснусь — за окнами в саду...» и «Сириус».

Затем вразвалку, не спеша, подошел к столику Борис Зайцев, сел и, медленно развернув рукопись, стал читать своим тихим, но ясным голосом только что им написанный рассказ «Полковник Розов».

После его чтения я через комнату Стражева¹⁰, который снимал вместе с Зайцевым эту квартиру, перешла в кабинет, но и там пришлось стоять.

Начались выступления более молодых поэтов. У каждого своя манера передавать свои «песни». Кречетов пел их громким басом, Муни был едва слышен, Стражев читал как-то презрительно, Ходасевич¹¹, самый юный, но уже женатый, закончил этот литературный вечер. Читал он немного нараспев, с придыханием, запомнился эпиграф Сологуба к одному из стихов: «Елkich с шишкой на носу». Мне в его стихах и придыханиях почудилось обещание.

После чтения хозяйка со свойственной ей живостью пригласила всех закусить. Во всю длину узкой столовой был накрыт белой скатертью раздвинутый на все доски стол, вокруг самовара чашки, дальше бутылки, окруженные стаканами, груды тарелок с ножами и вилками, холодные блюда.

Разместились в большой тесноте. Я была знакома почти со всеми.

Привлекал меня Бунин. С октября, когда я с ним встретилась у большого поэта Пояркова¹², он изменился, похудел, под глазами — мешки:

видно было, что в Петербурге он вел, действительно, нездоровый образ жизни, да и в Москве не лучше.

Я вспомнила его в Царицыне, когда впервые, почти десять лет назад, увидела его в погожий июньский день около цветущего луга, за мостом на Покровской стороне с Екатериной Михайловной Лопатиной¹³. Тогда под полями белой соломенной шляпы лицо его было свежо и здорово.

Сразу же начался бессмысленный, но в то же время частый спор: что лучше — Москва или Петербург? И, конечно, каждый остался при своем мнении. Разговор перешел на писателей, поэтов. Бунин высмеивал «декадентов», и здешних, и тамошних. Большинство из гостей заступалось и нападало на него, но он с редким остроумием парировал удары, весело изображая то голосом, то жестом этих поэтов, чем вызывал дружный смех; на остром красивом лице хозяина загадочно играла улыбка.

«Декадентки» тоже негодовали, взвизгивали, а потом заливались смехом. Они были двух родов: одни тихие, молчаливые, как, например, Женья Муратова в розовом тарлатановом стильном платье, причесанная а прямой пробор с косами на ушах, или Катя Грифцова с большими черными озаряющими лицо глазами, или красивая артистка Рындина, жена Кречетова, или Марина Ходасевич, высокая, гибкая, с острым белоснежным лицом, с гладко притянутыми соломенными волосами, всегда в черном платье с большим вырезом. Другие — шумные, живые, а во главе их хозяйка дома, хорошо сложенная, тонконогая, с высокой золотистой прической, вся устремленная ввысь, умевшая привлекать к себе сердца, а рядом с ней ее закадычная подруга Любочка Рыбакова, поражавшая огромными темными глазами, с угольными локонами вдоль щек, вечно кем-нибудь увлекающаяся. Были тут и сестры Заболоцкие, Тоня и Зиночка, с милыми простыми лицами, страстные поклонницы писателей и поэтов.

Разговор коснулся Андреевых, живших в то время в Берлине. Зайцев сообщил, что он недавно получил письмо от Леонида: они ждут появления на свет второго ребенка.

Наговорившись и нахохотавшись, шумно поднялись, и столовая опустела. Я перешла к противоположной стене и остановилась в раздумье: не отправиться ли домой?

В дверях появился Бунин.

— Как вы сюда попали? — спросил он.

Я рассердилась, но спокойно ответила:

— Так же, как и вы.

— Но кто вы?

— Человек.

— Чем вы занимаетесь?

— Химией.

— Как ваша фамилия?

— Муромцева.

— Вы не родственница генералу Муромцеву, помещику в Предтечеве?

— Да, это мой двоюродный дядя.

— Я иногда выдаю его на станции Измалково¹⁴.

Мы немного поговорили о нем. Потом он рассказал, что в прошлом году был в Одессе во время погрома.

— Но где же я могу вас увидеть еще?

— Только у нас дома. Мы принимаем по субботам. В остальные дни я очень занята. Сегодня не считается: все думают, что я еще не вернулась из Петербурга...

В этот момент влетела Верочка Зайцева¹⁵:

— Вот где ты, Ваня, иди к нам, там Марина тебя ждет...

— Сейчас.

И они направились в комнату Стражева.



В. Н. БУНИНА

Фотография К. А. Фишера. Москва, декабрь 1906 г.

Парижский архив Бунина

Я услышала упреки Верочки и оправдания Бунина, мне стало неприятно. Я направилась в переднюю и, увидав, что кабинет пуст, вошла в него. Села в кресло с высокой спинкой и стала думать: почему Бунин сразу понял, что я не «декадентка», хотя на мне было тоже платье с высокой талией и причесана я на прямой ряд?

Вошли Петр Константинович Иванов и Виктор Иванович Стражев. Оба бывали у нас. П. К. Иванов, высокий брюнет, страстный театрал, сотрудник газет, издавший свои книги «Студенты» и «Дама в синем», был в этом году выбран секретарем Литературной вторичной комиссии Художественного кружка. Он со студенческих времен вел светский образ жизни, посещал некоторые открытые дома: Желябужских, Варвары Алек-

сеевны и Маргариты Кирилловны Морозовых, Лосевых, был своим в их особняках.

Виктор Иванович Стражев стал нашим гостем в первых годах нынешнего столетия. Мои родители с братом Митей¹⁶, тогда еще гимназистом, встретили Стражевых на волжском пароходе, сначала повздорили на политические темы, но к концу путешествия подружились. Маме моей, читавшей только «Русские ведомости», живой и страстной, удалось переубедить новых своих друзей, и они с тех пор бросили читать правую газету «Московские ведомости». Он преподавал в третьей мужской гимназии литературу и подвизался на сцене. Жена его была актрисой, милая полная женщина. У них уже было четверо детей, но они жили в меблированных комнатах, своей кухни не имели.

Года два назад Стражевы разошлись.

Как-то он попросил меня познакомить его с Зайцевым, которого он ценил как писателя. И я привела его к ним на Спасо-Песковскую площадку. Они подружились и в этом году решили вместе снять квартиру, нашли ее на стыке Спиридоновки и Гранатного переулка, в доме Армянского.

Мы немного поболтали, я смотрела то на стройную фигуру Стражева, то на красивое лицо Иванова. И вдруг мы решили отправиться в Художественный кружок. Не прощаясь, укатили, взяв извозчика, на Большую Дмитровку.

В Кружке было уже пустынно; в этот час посетители его находились в игорных залах, куда мы не заглянули. Посидев недолго в одной из гостиных, мы поехали домой — все жили близко друг от друга.

Я прошла в наш особнячок со Скатертного переулка, через двор и кухню, чтобы не будить горничную. Клонило в сон. В этом году на курсах кипела работа. Устали от политики, и всем хотелось учиться. Лаборатории были переполнены. Я решила серьезно заняться химией, написать работу у нашего профессора по органической химии Н. Д. Зелинского, взяв у него тему. Заставляла себя этим предметом заниматься по утрам, вставала до зари.

Бунина, как писателя, я знала недостаточно, читала в сборниках «Знания» его рассказы и стихи. Засыпая, вспомнила именины свояченицы Зайцева, Тани Полиевктовой, самой красивой из всех сестер Орешниковых, жившей в казенной квартире на Девичьем поле, ее муж был доктор по детским болезням. День был морозный, солнечный, в маленьком домике было очень уютно, в детской играли прелестные дети, три девочки и мальчик. Во время именинного завтрака раздавался смех, — все Орешниковы были остроумны, талантливы, некоторые очень живы, а потому с ними всегда бывало весело: одна расскажет анекдот, другая представит кого-нибудь, третья сыграет на рояле вальс, да так, что заслушаешься, четвертая пропляшет, а мать, высокая полная женщина необыкновенной красоты, все повторяет: «В моих дочерях столько разной крови, что они все талантливы, а некоторые — как шампанское».

На этих именинах был еще их кузен Вася Сахновский, будущий режиссер Художественного театра, гимназист пятого класса, учившийся вместе с моим братом Митей.

В гостиной на столе лежала январская книга «Мира божьего» (1902 г.). Верочка предложила:

— Хотите, я прочту «Осенью» Бунина, рассказ не длинный.

Все обрадовались, она читала хорошо. Рассказ произвел впечатление. Я прозу Бунина слушала впервые, мне она понравилась. Все молчали. Затем разговор перешел на автора. Вспомнили, что он женился на красавице гречанке, но быстро расстался с ней. Мама рассказала его «историю» с Лопатиной, о ее болезни.

2

В воскресенье, после зайцевского вечера можно было выспаться. Днем к нам забежала Верочка и сообщила, что они вчера все отправились в «Большой Московский». Передала, что Бунин в следующую субботу придет к нам вместе с ними, и вихрем куда-то умчалась.

В субботу, когда я вернулась домой из лаборатории, стол был уже раздвинут на все доски, и братья с горничной накрывали его скатертью. Ими была куплена огромная бутылка красного вина, они сказали, что будет много народа, они тоже пригласили своих друзей.

Я едва успела переодеться, как начались звонки. Пришли Зайцевы, Стражев, П. К. Иванов и с ними Бунин. Все уселись в гостиной на нашем огромном полукруглом старинном диване.

Бунин жаловался на головную боль и попросил черного кофея. Сказал, что он ненадолго, так как дал слово быть у Дживелеговых¹⁷.

— У вас отдельная комната?— обратился он ко мне.

— Да.

— Можно ее посмотреть?

И я повела его через мамину спальню в свою узкую, длинную комнатку, в которой все было, что нужно для жизни: за ширмочкой — кровать, тумбочка, а против двери письменный ореховый стол со многими ящиками, сзади него, у печки, крохотный будуарный диванчик, два мягких стульчика по обеим сторонам стола. В углу, у окна, выходившего на юг, в палисадник, туалетный стол, покрытый белым тюлем, перед ним пуф, а напротив, в рост человека, черный шкаф, над которым висела этажерка с книгами. И, конечно, с потолка спускался неизменный фонарик.

Бунин окинул взором комнату, внимательно взглянул на стену со снимками, потом сел у стола справа, я села за стол.

Немного помолчали.

— Поедьте на самый север Финляндии. Там снега, олени, северное сияние.

— Поедьте,— и я увидела и северное сияние, и оленя, уносящего «от смерти красоту», и очень удивилась сама своему согласию, но добавила:

— Я больше всего люблю путешествия по тем местам, куда почти никто не ездит, один раз на Кавказе, в восемнадцать лет, я дорого заплатила за это. А северное сияние меня манит с детства.

Поговорив еще минут двадцать, мы услышали голоса из столовой, звавшие нас.

В столовой все места были заняты, кроме двух на противоположных концах длинного стола. Я села у итальянского окна, а Бунин близ большой белой кафельной печки, недалеко от Стражева и Зайцевых. Я осмотрела гостей: все в сборе. Вот близкий мне человек, Зоя Шрейдер¹⁸, красивая женщина, рядом с Зайцевым, ее муж из многочисленной семьи Шрейдеров; далее хорошенькая Оля Кезельман с мужем, которого я знала еще гимназистом пятой гимназии. Оля — дочь известного историка Иловайского, с ее покойной сестрой Надей я была закадычной подругой в гимназии, а Оля стала после своего замужества своей в нашем доме¹⁹, так как родители ей не простили, что она вышла замуж против их воли за человека с еврейской кровью. Против нее ее племянница, Лёра Цветаева, дочь профессора Ивана Владимировича и единокровная сестра Марины. Рядом с ней невзрачный репетитор ее брата Андрюши. Далее, подле брата Мити, Эльза Адам с очень оригинальной наружностью: золотые волосы и черные глаза. С другой стороны — друг Мити Сережа Одарченко, большой комик, всегда в кого-нибудь безнадежно влюбленный. Тут же сидел профессор Горбунов «с унылым носом», как его охарактеризовал Бунин; а около профессора наша курсистка Вера Грунер, уже принадлежавшая

к партии большевиков, подле нее Борисова, далее с братом Павликом²⁰ сидела Сонечка Субботина, мечтавшая о сценической карьере.

Профессор Горбунов сцепился с Буниним из-за стихов Минского «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», доказывая, что в них нет ритма.

— Вы ошибаетесь, — возразил Иван Алексеевич, — в этих стихах ритм отличный, — и он прочел несколько строф.

Но Горбунов продолжал оспаривать, и, чтобы прекратить нелепый спор, Бунин язвительно сказал:

— Ну, вам и книги в руки, — и, обратившись к Зайцеву, заговорил с ним об Андреевых.

Зайцев сообщил, что от Добровых, родственников Андреевой, они узнали, что Александра Михайловна чувствует себя неплохо, роды должны быть в конце этого месяца.

Неожиданно Бунин спросил:

— У вас есть Чехов? Я хочу прочесть вам его рассказ.

Младший брат мой Павлик принес ему томик Чехова. Все оживились, знали, что даже сам Антон Павлович любил слушать свои рассказы в чтении Бунина.

Какой это был рассказ, я забыла. Помню, что мы смеялись, действительно, Бунин читал мастерски.

Время шло, а он, видимо, и не помышлял о Дживелеговых, мне было приятно: я знала, что у Дживелеговых собирался цвет московского общества: знаменитые артисты, видные адвокаты, известные журналисты, модные врачи, а между тем Бунин явно предпочитал нас.

Мама была под Петербургом, в Сосновке, а папа в этот вечер не вышел, вероятно, очень устал, может быть поэтому и было непринужденно и весело.

Когда поднялись из-за стола, то все разбрелись по нашей большой гостиной. Мы с Буниним, желая вознаградить себя за далекое расстояние в столовой, сели на диванчике недалеко от большого книжного шкапа красного дерева. Бунин стал приглашать меня на заседание «Общества любителей российской словесности», которое назначено послезавтра в Актовом зале университета. Там будет говорить председатель Общества, сам Петр Дмитриевич Боборыкин, потом Вересаев прочтет рассказ о войне, а затем с новыми стихами выступит и он...

Я ответила уклончиво, объяснив, что мне в будни трудно бывать где-нибудь по вечерам, я встаю рано, до зари, чтобы готовиться к экзамену по органической химии, что мне невыносимо трудно будет слушать, будет клонить в сон, к тому же акустика в этом зале отвратительная.

— Это правда, но все же приходите.

Твердого обещания я не дала.

Было уже два часа ночи, когда стали собираться по домам. Поднялся чуть ли не в передней какой-то спор, особенно кричал, что-то доказывая, Иванов, уже тогда начинавший глохнуть. Когда гости ушли, папа, который очень редко выходил из себя, выскочил в халате и обрушился на нас:

— Кто так кричал? Я не мог спать!

На другой день к нам прилетела Верочка:

— Бунин только что звонил нам по телефону, умоляет, чтобы я уговорила тебя пойти со мной на заседание в университет.

Я согласилась.

На следующий день, 13 ноября, я, как обычно, работала над чем-то по органической химии. Стояла у вытяжного шкапа. Меня вызвали к телефону, который находился в комнате рядом.

Я услышала голос Бунина:

— Пожалуйста, будьте сегодня на заседании, уверяю вас, вы не раскаетесь, Вера обещала за вами зайти.



1907

БУНИН

Фотография К. А. Фишера. Москва, декабрь 1906 г.

Внизу позднейшая помета Бунина: «1907»

Парижский архив Бунина

Я сказала, что буду.

Когда я вернулась к своим занятиям, то курсистки спросили, почему у меня такое радостное лицо? В этот вечер я пробыла там до половины восьмого. Дома быстро поела и стала переодеваться.

Звонок, и через минуту вошли Верочка Зайцева и сестра ее Таня.

Таня поражала своей итальянской красотой; ведь их бабушка, урожденная Бруни, родственница художника. Несмотря на уговоры, Таня с нами не пошла.

3

Через четверть часа мы поднимались по мраморной лестнице старого университета, ведущей в Актовый зал. Мы не опоздали, но зал был переполнен. Первое, что бросилось мне в глаза при входе, вертящийся затылок Бунина. Видимо, он меня ждал. Я остановилась у средней мраморной колонны, Верочка быстро исчезла, у нее везде было много знакомых. Я стала рассматривать эстраду, — огромная, во всю ширину зала, она была полна. Все члены Общества были налицо, этот вечер вызвал интерес и у них, и у публики. Желавших было столько, что пришлось перенести заседание из обычной небольшой старой библиотечной залы сюда.

Бунин сразу заметил меня и, спрыгнув с эстрады, подбежал ко мне:

— У вас нет места! Пойдемте на эстраду!

— Что вы! С какой стати! Неужели вы думаете, я сяду среди этих бородачей и седых голов, одна Лопатина еще поражает молодостью.

— Ну, как хотите, — и он кинулся к своему месту, но на эстраду не поднялся, а схватил стул с нее и поставил его передо мной. Я так растерялась, что весь вечер простояла.

Бунин был участником этого вечера, меня тоже кой-кто знал, а потому не удивительно, что стали говорить о нас.

Первым выступил сверкающий голый головой и белоснежным бельем Петр Дмитриевич Боборыкин. Он прежде всего предложил вставанием почтить память знаменитого адвоката В. Д. Спасовича. Затем сделал о нем доклад, вызвавший аплодисменты. Акустика в этом зале, как я уже писала, отвратительная, и многое трудно было расслышать.

После доклада Боборыкина был объявлен перерыв. Я вышла одна к широкой мраморной лестнице и стала смотреть на поднимающуюся и спускающуюся публику. Неожиданно я услышала знакомый голос:

— А вот вы где!

И Бунин, остановившись рядом со мной, облокотился на мраморный парапет.

— Вам не скучно жить?

— Нет. А вам?

— Мне не скучно, я поэт.

Я не поняла, почему поэтам не бывает скучно, но не спросила.

— Поедемте после в Большой Московский, — предложил он.

— Поздно будет, а мне рано вставать.

— Ну что за пустяки, поедемте. Я сейчас отыщу Зайчиху, и она вас уговорит.

Через несколько минут они оба были около меня. Верочка тоже стала упрашивать, и я не устояла.

Вернулись в зал.

Первым читал В. В. Вересаев свой новый рассказ «В мышеловке», тема из японской войны. Читал тихо, и почти ничего не было слышно. После него поднялся Бунин. Он прочел сначала свой перевод «Годиwa» Теннисона. Затем длинные стихи «Джордано Бруно», потом сонеты «Еги-

пет», «Истара», после «Один», «Цветные стекла» и «Панихида». Доносились только некоторые строки из этих стихов, то, что он читал у Зайцевых, я по этим строчкам их узнавала.

Окончилось это собрание рано, в одиннадцатом часу. Иван Алексеевич звал с нами в ресторан своего брата. Но Юлий Алексеевич, с которым я здесь и познакомилась, кому-то уже дал слово вместе ужинать. Небольшого роста, полный, — лицом братья были похожи, — а ему было под пятьдесят.

До «Московского» мы дошли пешком. Это недалеко. И все же, когда пришли, то в ресторане было пусто. Иван Алексеевич попросил отвести нам кабинет во втором этаже, выходивший в белый зал, чтобы мы могли видеть публику, которая приезжает из театров, с концертов. В зал мы не решились войти — слишком просто, не по-вечернему были одеты.

Я отказалась от еды, сославшись на то, что поздно обедала, я считала, что неудобно ужинать на деньги человека малознакомого, а денег со мной не было. Пока они заказывали себе что-то рыбное, я смотрела на ослепительно освещенный зал, на дам в вечерних туалетах, на мужчин в смокингах и в мундирах.

Когда половой ушел, Верочка сказала:

— Знаешь, Иван, одна знакомая спросила: «Бунин — декадент?» и когда я ответила ей: «Нет, что вы! какой же он декадент!», — то она не поверила. Вот дура!

Мы смеялись. Оба мои спутника были в ударе, а потому все время было очень оживленно и весело. Говорили и о моем дяде, и о Предтечеве, это, оказывается, село, где его имение. Иван Алексеевич сообщил, что его отец был приятелем его родителей и дяди, которого прозвали «раздраненный улан». Я с детства запомнила Алексея Алексеевича — высокого военного в серой шинели и фуражке с желтым околышем. Запомнился разговор о какой-то чете, жена была старше мужа:

— Ну что ж, кто любит телятину, — заявил он, — а кто говядину...

Я, конечно, в те далекие времена не поняла смысла его слов, но их запомнила. Рассказала об этом теперь, и мы очень смеялись.

Когда принесли ужин и белое вино, Иван Алексеевич спросил:

— Но от вина вы, конечно, не откажетесь?

И я не отказалась. Мне хотелось есть, но я стойко смотрела на вкусные блюда. Мы очень долго сидели, время не шло, а летело, было необычайно весело. Уходили мы из ресторана чуть ли не последними. Меня удивило, что и подававший половой и швейцар были необыкновенно дружелюбно любезны с Буниным. Он объяснил, что давно бывает здесь, а иногда и останавливается, так как при ресторане есть номера. Он поехал нас провожать, неожиданно на извозчике я почувствовала какое-то непонятное для себя родственное чувство, мне стало казаться, что я знала его давным-давно. И на следующий день, рассказывая младшему брату Павлику, с которым я была особенно близка, об этом вечере, я неожиданно для себя призналась ему:

— Знаешь, кажется, на этот раз я не вывернусь, — и, сказав это, я удивилась своим словам.

На другой день мы опять встретились с Буниным в Кружке на чьем-то докладе, потом ужинали вместе с Юлием Алексеевичем, Зайцевыми, Койранским и Телешовым, которого я знала с отроческих лет по Царицыну. Как всегда теперь, в компании с Буниным, мне было весело и радостно. Иван Алексеевич поехал меня провожать. Была мягкая погода, он предложил покататься, и мы долго колесили по Москве. Доехали до



И. А. БЕЛОУСОВ

Фотография. Москва, 1912

Из альбома, подаренного Бунину членами «Среды» к двадцатипятилетию его литературной деятельности.

С дарственной надписью:

«Дорогому, старому другу
Ивану Алексеевичу Бунину
от любящего сердцем И. Белоусова»

Центральный архив литературы
и искусства, Москва

*Дорогому старому другу
Ивану Алексеевичу Бунину
от любящего сердцем
И. Белоусова*

Девичьего поля, до самого монастыря. Он стал просить меня, чтобы я как-нибудь зашла к нему. Он живет в меблированных комнатах, очень тихих, Гунст, в Хрущевском переулке, рядом с особняком Лопатиных. И тут он разъяснил мне их «историю». Екатерина Михайловна нервно заболела потому, что у нее был роман с психиатром, который лечил ее покойного старшего брата, Николая Михайловича, собирателя русских народных песен.

Николая Михайловича я знала, он был сослуживцем моего отца. Я видела его раз на белой лошади, в белой косоворотке, белом картузе, когда он приехал к папе в Волынское, где мы проводили лето, мне тогда шел девятый год.

Свой роман с психиатром Екатерина Михайловна скрывала от семьи, а с Иваном Алексеевичем она дружила, держала с ним корректуру своего романа «В чужом гнезде», и он был в курсе ее тяжелых романтических переживаний.

Когда осенью 1898 года он женился, а она, порвав с психиатром из-за связи его с француженкой, — у них была дочка, — нервно заболела, то ее мать, как и вся их семья, считала, что эта болезнь вызвана женитьбой Бунина.

Останавливаюсь я на этой драме потому, что моя мама, узнав из писем моих приятелей о том, что Бунин «ухаживает» за мной, испугалась, зная от матери Екатерины Михайловны причину болезни ее дочери.

Мы уже начали с Иваном Алексеевичем выдаваться ежедневно: то вместе завтракали, то ходили по выставкам, где удивляло меня, что он издали называл художника, бывали и на концертах, иногда я забежала к нему днем прямо из лаборатории, оставив реторту на несколько часов под вытяжным шкапом. Ему нравилось, что мои пальцы обожжены кислотами.

— Вот о какой науке я не имею ни малейшего понятия, так это о химии, — сказал он со своей очаровательной улыбкой.

Номер его находился на верхнем этаже. Лифта не было. Комната просторная, не очень светлая, с одним окном, выходившим во двор. Рядом

с окном близко у стены — большой письменный стол, за ним кресло. На столе кipa только что вышедших книг в светло-зеленых обложках: его третий том в издании «Знания». Далее вдоль этой же стены — огромный диван, на котором мы всегда коротали время.

Кровать была за деревянной высокой перегородкой, направо от входной двери.

В следующую субботу у нас гостей было мало. Бунин пришел один. Из литераторов был только П. К. Иванов, из друзей Шрейдеры, Кезельманы, из приятельниц Баранова и Вера Грунер. Мы недолго посидели в столовой и, чтобы не беспокоить папу, я предложила пойти в мамину комнату. По дороге Иван Алексеевич сказал:

— Хотите, я напишу о вас сонет?

Я очень смутилась и от застенчивости глупо ответила:

— А вы меня в нем не испортите?

Он засмеялся.

Спальня мамы тоже была с итальянским большим окном, она больше походила на будуар. Короткая тахта, сделанная по ее росту, — мама была очень маленькая, — кушетка для дневного отдыха, письменный столик с палитрой, в которую вставлены портреты писателей, красного дерева комод. Над тахтой большое овальное зеркало. На полу ковер. С потолка свешивался фонарик. У высокой выдвинутой в комнату печки небольшой стол, за которым мама чинила белье, штопала, читала.

Когда все разместились, Иванов обратился к Бунину с предложением сделать доклад в Художественном кружке во вторник. Иван Алексеевич согласился, но поставил условие, чтобы ему заплатили, как иногороднему докладчику, так как он не живет постоянно в Москве. Иванов сказал, что он доложит о его условии в комиссии.

— А заглавие доклада моего заманчиво: «Золотая легенда».



Б. К. ЗАЙЦЕВ

Фотооткрытка, начало 1910-х годов
С автографической подписью Зайцева
Мемориальный кабинет Н. Д. Телешова,
Москва

Сергей Зайцев

И во вторник, 21 ноября, он читал о «Золотой легенде». В это время он переводил произведение Лонгфелло под этим заглавием.

Еще до начала Саша Койранский сказал, что они решили с Сашей Брюсовым возражать, что бы ни читал Бунин, так как они завтра уезжают в Париж.

И, действительно, они участвовали в прениях и несли, как говорилось у Буниных, «и с Дона, и с моря», но все очень весело. Возражал и В. Я. Брюсов, начав словами: «Прекрасная речь господина Койранского», и с несвойственным добродушием разнес и докладчика, и оппонентов, дело шло об эпохе, которую он знал превосходно.

По окончании прений мы в большой компании ужинали, и было особенно оживленно. Все решили ехать на следующий день провожать двух Саш на Брестский вокзал.

После Кружка мы катались немного по московским улицам, Иван Алексеевич сказал:

— Я отношусь к вам, как к невесте.

Вечером мы встретились на Брестском вокзале, проводы были многочисленные и шумные, хотя Саша Койранский находился в тяжелом душевном состоянии, ему хотелось бежать из Москвы и пожить на парижской мансарде где-нибудь на Бульмише... Денег у обоих путешественников было в обрез.

На этот раз Иван Алексеевич поехал провожать красавицу Марину Ходасевич.

Как-то у нас зашел разговор — я сидела у Ивана Алексеевича — о петербургских декадентах, и я попросила его рассказать о мистификации, о которой я слышала еще до знакомства с ним. Он объяснил удачу этой мистификации тем, что, по его мнению, поклонники декадентов ничего не понимают в поэзии, а притворяются ценителями. И вот они с Федоровым²¹ на извозчике сочиняли — строчку один, строчку другой, — а приехав на сборище поэтов, Иван Алексеевич сказал: «Вот мы прочли только что стихи и ничего не понимаем в них».

Я привожу их целиком, во время писания «Жизни Бунина» их у меня не было, и я не так привела первую строку.

О, верный, вечный, помнишь ты
На улице туман?
Две девы ищут комнаты.
Идет прохожий пьян.
Шпионы востроносые
На самокатах жгут.

Всем задаю вопросы я,
Вопросы там и тут.
Но на вопросы пьяные
Ответа нет и нет.
Сквозь сумерки туманные —
Холодный белый свет.

И тут он в лицах изобразил всю сцену, о которой я уже писала в «Жизни Бунина».

Однажды, когда я опять зашла к Ивану Алексеевичу, он поведал мне свое заветное желание — посетить Святую землю.

— Вот было бы хорошо вместе! — воскликнул он. — С вами я могу проводить долгие часы, и мне никогда не скучно, а с другими и час, полтора невозможны. У нас с моими племянниками уговор: когда я жду гостью в таком-то часу, то один из них часа через полтора стучит ко мне в дверь:

— В Москве из деревни Петр Николаевич, ему очень нужно тебя видеть, а завтра он возвращается домой.

— Петр Николаевич — их дядя, мой двоюродный брат²², — объяснил мне Иван Алексеевич, — вот свидание и прерывается, а с вами я не наговорюсь...

Я много узнала уже о его прежней жизни, хотя он рассказывал отрывками, а не подряд. Узнала о его первых литературных шагах. О встрече

и даже дружбе с декадентами. Его книга стихов «Листопад» вышла в издательстве «Скорпион», под редакцией Брюсова²³.

— Вы не можете представить себе, как издатель Поляков, сын фабриканта-миллионера, за каждые пятьдесят рублей торговался, и торг продолжался с двух до семи вечера, а когда мне надоело, и я согласился отдать книгу за двести пятьдесят рублей, и стовор был совершен, то он вынул из кармана футляр, в котором лежало драгоценное ожерелье, и, показывая его мне, сообщил, что это подарок его любовнице.

— Вот странно,— сказала я,— я хорошо знаю Сергея Александровича, никогда не думала, что он такой... Легко дает взаймы и никогда не напоминает.

— Может быть, а вот за стихи в «Весах» или за книгу — это «с большими слезами, папаша», — смеясь добавил Иван Алексеевич. — Да он и не исключение среди так называемых русских меценатов, на все тратят, а писателям платить не любят, им, видимо, и в голову не приходит, что литераторам есть и пить надо.

5

В пятницу 1 декабря, вернувшись из лаборатории раньше обыкновенного, я нашла у себя на письменном столе несколько книг Бунина: три тома его сочинений и перевод его «Песни о Гайавате» Лонгфелло, в издании «Знание», «Листопад» в издании «Скорпион», «Новые стихи», издание Карзинкина, и краткую записку, что он едет сегодня вечером с Телешовым по делам в Петербург.

До ночи я читала его стихи, а рассказы взяла с собой на другой день в лабораторию и, как села за свой столик, так, не отрываясь, прочла весь том с начала до конца.

Мы ждали маму, она должна была приехать к Николиному дню, который у нас всегда праздновался, бывало много поздравителей, почти все оставались и обедать. Я жила в тревоге: из маминих писем поняла, что ей кое-что известно, о чем я умалчивала. Осведомителями оказались мужчины, подруги и приятельницы были благороднее. Я чувствовала, что она испугана: женат, «история» с Лопатиной, легкое отношение к женам среди писателей и поэтов.

Когда она вернулась домой, то сразу же начались разговоры, и моим возражениям она мало придавала значения. К тому же некоторые поддерживали ее в неприятии Бунина.

К моему удивлению, Иван Алексеевич с Телешовым быстро вернулись из Петербурга. Бунин в понедельник, 4 декабря, позвонил в лабораторию. Я сейчас же полетела к нему. Он очень весело и художественно рассказывал об этих днях, изображая всех в лицах. Они попали на вечер, где Волинский «сидел между двух дам, лежавших у него на плечах, и нес такую околесицу, — вспоминал Иван Алексеевич, — что я не выдержал и выбежал в прихожую, за мной, широко шагая, вышел Телешов, и мы отправились к Палкину».

Побывали они и в издательстве «Знание», получили гонорары за свои книги, Бунин — за книжки для народа и остаток за третий том стихов.

Были на обеде у Куприных. Александр Иванович сделал ему скандал за то, что он поцеловал руку у их бонны, которую Иван Алексеевич давно знал. Она только что вернулась с японской войны, где была сестрой милосердия.

— Ты знаешь, что у барышень руки не целуют... — кричал он, налившись кровью.

И я в первый раз услышала скороговорку Куприна.

Потом он повествовал о своей поездке: как Телешовы прощались, без конца крестили друг друга, целовались. На возвратном пути, в вагоне, Николай Дмитриевич все сокрушался:

— Поиздержался сильно... Что скажу жене?.. Не придумаю...

— А жена, конечно, — смеялся Иван Алексеевич, — даже удивится, как мало истрчено. Но русский человек, особенно выпивший, всегда играет. А мы, конечно, запаслись вином, да и на станциях Митрич выходил «пивцом освежиться»...

Я очень смеялась, — если закрыть глаза, казалось, сам Телешов говорит.

Я поблагодарила за книги, сказала свое мнение о них. Он улыбаясь заметил:

— Меня удивило, что вы не просили, как это обычно просят девицы и женщины, ни моих книг, ни портрета...

Он не знал моей особенности: я никогда ничего не просила.

6

Николин день.

У нас много гостей.

Часов в пять телефонный звонок; его голос:

— У меня скончался отец ²⁴. Не можете ли вы приехать?

— Нет, это невозможно, полон дом гостей.

— Ах, как жалы!

— Приеду завтра.

И на другое утро мы увидались. Он за два дня очень осунулся, побледнел. Пришла телеграмма от брата Евгения. Юлий Алексеевич сегодня уезжает в Огневку на похороны, а Иван Алексеевич нет:

— Я не могу... да и Юлий отговорил...

Это меня удивило.

Мы где-то позавтракали; а затем поехали к Юлию Алексеевичу. Встретили его на огромном дворе Михайлова. Он был растерян. Оказалось, что он с вокзала, где обнаружил, что забыл бумажник, вернулся за деньгами. Извозчик ждал его у ворот.

Мы пошли в Нащокинский переулок, где жил Иван Алексеевич. Он был подавлен.

— Вот всегда так: наша любовь — и смерть отца, точно искупление...

Он долго говорил мне об отце, очень оригинальном и одаренном человеке, но из-за вина и какой-то ненормальной щедрости разорившемся дотла.

— Я считаю, что мой художественный талант от него. А каким образным языком говорил он! И какая скучная и тяжелая жизнь была его последние десять лет! В руки денег дать было нельзя: сейчас появится водка, а во хмелю он бывал буен... Характер же у него на редкость благородный, ложь не переносил, с мнением людей не считался. Любимой поговоркой его была: «Я не червонец, чтобы всем нравиться!» — и в первый раз за весь день Иван Алексеевич улыбнулся.

Сговорились на следующий вечер увидеться в Кружке, а конец сегодняшнего дня и завтра он проведет с Пушкинниковыми ²⁵, которые тоже огорчены, они любили Алексея Николаевича.

Я же должна побыть с мамой, мы давно не видались. Передала ему, что она встревожена нашим романом.

На следующий день мы были в Кружке. Сидели в столовой, были Телешов и Зайцевы, узнавшие о его горе. Как-то все притихли. Он наклонился ко мне и на ухо сказал:

И. А. и В. Н. БУНИНЫ

Фотография К. А. Фишера. Москва,
декабрь 1906 г.

Внизу поздняя (неточная) помета

Бунина: «Весна 1907 г.

Первое путешествие в Сирию,
Палестину»

Литературный музей, Москва



— Сегодня он первую ночь в земле, как это страшно! Из Кружка вышли рано и на извозничьих санках поехали к Девичьему монастырю. Он все говорил об отце, восхищаясь щедростью его натуры, правдивостью, образностью его языка.

— Меня из братьев он больше всех любил: «Старшие сыновья не в меня, — Юлий вечный студент, неловкий, боится на лошадь сесть, Евгений сквалыжник, из-за гроша может выйти из себя... Только ты в меня ловкостью и талантом...»

Вернулся с похорон Юлий Алексеевич. У отца перестали работать почки. Была метель, нельзя было послать за врачом. Он знал, что умирает. Вызвали из Грунина священника, очень грубого. Он причастил его. Похоронили его в селе Грунине. На похороны приехала дочь с мужем²⁶, его родная племянница, мать Пушешниковых, и ее брат Петр Николаевич Бунин.

В середине декабря Иван Алексеевич уговорил меня поехать в фотографию Фишера и там сняться. И мы снимались и вместе, и отдельно. Несколько фотографий, уже неповторимых. Мы решили до поры до времени никому не говорить о них, поэтому ограничились только пробными карточками.

Один мой портрет, который ему больше всего нравился, он назвал «Волк», — я, снимаясь, думала «быть или не быть», так как ответа себе еще не дала.

О Палестине же мы говорили серьезно, но я понимала, что если я решусь и поеду с ним открыто, значит, я делаю бесповоротный шаг, и многие родные и знакомые отнесутся к этому отрицательно. Но для меня главный вопрос был в родителях.

Я знала, какая была драма для матери моей близкой подруги Раи Оболенской, когда она стала жить не венчаясь, с большевиком П. Н. Мостовенко. Рая отличалась большой принципиальностью и не хотела идти на компромисс. Она тоже была в партии большевиков. Стоило ей это дорого, у нее на нервной почве развилась базедова болезнь.

7

Во второй половине декабря Иван Алексеевич стал поговаривать о деревне. В субботу он пришел к нам, чтобы познакомиться с мамой. Разговор был вялым, Иван Алексеевич находился еще в первой стадии своего горя, был тих и молчалив. Мама не переменяла своего отрицательного отношения к нему. Перед своим отъездом он повел меня к Юлию Алексеевичу, на его пятичасовой чай. Пришли мы немного раньше. Братья Пушешниковы были уже там. Иван Алексеевич все повторял: «Кто был удивлен, так это кролики!..» Фраза из «Писем с мельницы» Альфонса Доде.

Старший брат Пушешников, студент четвертого курса юридического факультета, выше среднего роста, с серьезным лицом, очень рассудительный, был одарен юмором. Другой — сильный брюнет с маленькими зоркими темными глазами, рассеянный и застенчивый, по словам Ивана Алексеевича, тонко чувствующий литературу. Он учился пению. Голос у него был редкий: баритон бель-канто ²⁷.

Пушешниковы, действительно, с удивлением смотрели на меня. Юлий Алексеевич принял меня очень радушно. Скоро стали собираться завсегдатаи: Николай Алексеевич Скворцов, журналист леводемократического направления, очень любивший Юлию Алексеевича, живой и чем-то возмущавшийся. Зашел и сотрудник «Русских ведомостей» с большой черной бородой. Я встречалась с ним у Сергея Петровича Мельгунова ²⁸, нашего общего приятеля, фамилию его я забыла.

Иван Алексеевич сообщил племянникам, что он думает на Рождество поехать к ним в деревню. Справился, вернулась ли их мать из Орла, где учился в гимназии их младший брат, Петя. И узнав, что она уже дома, воскликнул:

— Вот и прекрасно, поедемте все вместе, не нужношний раз посылать на станцию лошадей!

В седьмом часу все разошлись. Юлий Алексеевич отправился со старшим племянником на предобеденную прогулку.

Я была рада его отъезду. Надо было окончательно разобраться в своих чувствах и решить свою судьбу.

Осенью под Петербургом, в Сосновке, где был Политехнический институт, я гостила у нашего друга, профессора Андрея Георгиевича Гусакова. Много времени проводила на теннисе, подружилась с одним лаборантом-химиком, Борисом Николаевичем Дыбовским. Кроме химии, он интересовался живописью, в Эрмитаже был как дома, знал хорошо многие европейские музеи.

В его почти пустой квартире грудой лежали на столах фотографии знаменитых картин и скульптур. Это был человек с живым умом, любил дальние прогулки, и мы часто ходили по Парголовскому шоссе, иногда добирались до Озерков, ведя бесконечные разговоры на самые разнообразные темы. Однажды речь зашла о том, что «нужно творить жизнь», а не жить, как принято. И я часто в эти декабрьские дни вспоминала синий день с безоблачным небом и ярко-красные грозди рябины, под которой мы остановились на шуршащих листьях...

Перед отъездом Ивана Алексеевича мы условились переписываться. Я просила адресовать мне письма на Курсы, в Мерзляковский переулок, — мы уже были на «ты». Там недалеко от входной двери на стене висела доска с алфавитными клетками, и курсистки легко находили адресованные им письма.

Пушениковы ехали в третьем классе, а Иван Алексеевич в первом. Поезд отходил с Павелецкого вокзала на Зацепе в 9 часов вечера. Я едва успела соскочить на платформу, когда поезд уже двигался.

Первое письмо было из Ельца, там пересадка на Юго-Восточную железную дорогу, приходилось ждать часа два-три. Письмо удивило меня, это был целый рассказ о купцах, пивших чай и закусывавших его навагой, которую они держали за хвост. Из Васильевского он писал часто, присылал только что написанные стихи: «Дядька», «Геймдал», «Змея», «Тезей», «С обезьянкой», «Пугало», «Слепой», «Наследство»; прислал раз одну строку нот ромansa.

На святках я много думала о своем будущем. Я уже чувствовала, что Бунин вошел в мою жизнь, но не решила, жить ли с ним открыто, или, взяв место по химии где-нибудь под Москвой, — профессор Зелинский мог устроить, — скрывать наши отношения.

Мама оставалась непримиримой. Ее настраивали против Бунина многие так называемые друзья мои, даже те, кто мало знали его. Один приват-доцент, приехавший из Казани, давнишний мамин приятель, у нас за обедом чернил Ивана Алексеевича. Волновался и профессор Горбунов и другие.

Я отмалчивалась. Решила готовиться к экзаменам, которые можно было держать в течение всего весеннего семестра. По телефону попросила Николая Дмитриевича Зелинского дать мне дипломную работу. И тут постигла меня неудача:

— Нет, работы я не дам вам, — сказал он своим заикающимся голосом, — или Бунин, или работа...

Я рассердилась и положила трубку.

Зелинский бывал у нас, с молодости он был большим другом с Андреем Георгиевичем Гусаковым, когда они оба учились в Одесском университете.

8

Новый год я встречала в Кружке, меня пригласили Рыбаковы. Дома в этот вечер мне было бы очень тяжело. На утро я получила из Петербурга новую его книгу, перевод «Каина» Байрона, изданный «Шиповником».

Я чувствовала себя выбитой из колеи и, хотя скрывала свое состояние от всех, но все же мне стало невыносимо, и я телеграммой вызвала Ивана Алексеевича в Москву. Подписалась — Тиша.

Через два дня я услышала его голос в телефон: «Я — в „Лоскутной“».

Быстро оделась и через четверть часа шла по низким длинным коридорам уютной гостиницы. Во время этого свидания я особенно почувствовала его нежную душу, и оно нас еще ближе связало. Он сообщил, что приедет в конце января, чтобы участвовать в вечере, который будет в Большом зале консерватории, вместе с другими писателями и артистами Художественного театра. Теперь же он не задержится, повидается только с братом и завтра вернется в деревню. Он смеялся на нападки казанского приват-доцента и других, которых он почти не знал.

После его отъезда я снова принялась за приготовление к экзаменам. Дома о нем стало меньше разговоров.

Из деревни Иван Алексеевич ездил на одни сутки в Воронеж. Его пригласили участвовать на вечере в пользу воронежского землячества. У него была близкая знакомая, дочь тамошнего городского головы Ключ-

кова, и, вероятно, она и устроила, что Бунин согласился приехать в город, где он родился, и участвовать в вечере.

Как мне хотелось слетать на один день туда и присутствовать на его выступлении.

Этот вечер, вернее, вся его обстановка, дана в его рассказе «Натали».

В конце января, как это было условлено, он приехал в Москву и остановился опять в «Лоскутной», где в те дни жил Найденев, — шли репетиции в Художественном театре его пьесы «Стены».

Я видела его, когда заходила к Ивану Алексеевичу. Это был очень приятный человек с теми, с кем он дружил. Поражала его простота и скромность. А в то время почти вся Россия ставила его «Детей Ванюшина». У него во всем чувствовалась доброкачественность. Одет он был в хорошо сшитый из дорогого материала костюм. Ему претило переодевание знаменитых писателей, и он нередко вспоминал, как Иван Алексеевич, идя с ним и Телешовым в фойе Художественного театра, встретил Горького, Андреева и Скитальца и, подскочив к ним, дурацким тоном Коко из «Плодов просвещения» спросил: «Вы охотники?» — Найденев заливался заразительным смехом, и его кривовисящее пенсне едва удерживалось на переносице. Он не скрывал своего волнения в связи с постановкой своей пьесы, но все в нем было благородно, без всякой рисовки или заносчивости. Он тоже должен был участвовать на вечере в консерватории.

Я решила на вечер не идти, несмотря на уговоры Ивана Алексеевича. Мне, конечно, очень хотелось, но я пока уступала в мелочах, зато крепко держалась намеченной цели. А мы все больше и больше обсуждали путешествие в Палестину.

На этом вечере среди других стихов Бунин читал свое длинное стихотворение «Джордано Бруно». Об этом вечере я знаю только по рассказам. Помнится, что Найденев читал так тихо, что его совершенно не было слышно и, когда Иван Алексеевич копировал его жесты и движения головы, то Сергей Александрович добродушно смеялся.

Приехал в Москву поэт, романист, драматург Александр Митрофанович Федоров. Бунин привел его к нам. Это был очень живой, небольшого роста человек, лет сорока, много говоривший о себе, о своем сыне и о том, какой он талантливый мальчик.

На дворе стоял мороз, и в доме было холодно, Иван Алексеевич назвал наш дом «Ледяным домом» Лажечникова.

9

В феврале Иван Алексеевич опять поехал в Петербург.

Без него я всегда чувствовала ревность к его прошлому. Я уже многое знала из его жизни. Вообще в наших беседах он больше рассказывал. Моя жизнь рядом с его казалась мне очень бедной. К тому же он никогда меня о моем прошлом не расспрашивал, может быть, от присущей его натуре ревности, а может быть, ему казалось, что моя жизнь была обычная жизнь молодой девушки.

Я решила его называть Яном: во-первых, потому что ни одна женщина его так не называла, а во-вторых, он очень гордился, что его род происходит от литовца, приехавшего в Россию, ему это наименование нравилось.

Вернувшись из Петербурга, он рассказал, что при нем, когда он сидел в гостях у Куприна, который угощал его вином, Марья Карловна вернулась с Батюшковым²⁹ с пьесы Андреева «Жизнь человека». Она похвалила пьесу, Александр Иванович схватил спичечную коробку и поджег ее платье из легкой материи. Слава богу, удалось затушить...

В субботу на масленице у нас были блины с гостями. Приехал двоюродный брат моего отца, Владимир Семенович Муромцев, генерал в отставке, который постоянно жил в Предтечеве. Дядя был очень родственный человек и посещал всех наших родичей, останавливаясь у кого-нибудь из них, и мы от него обо всех узнавали, так как мы не со всеми ими видались. С разрешения папы я пригласила на блины и Ивана Алексеевича. Разговор между нашими гостями был оживленный: сначала о Ельце, о помещиках, о мужиках, а затем коснулись смертной казни, и тут возгорелся спор. Генерал был за нее, а Иван Алексеевич, как и мы все, против, но спорили они мягко, он с улыбкой возражал на доводы генерала.

Нас всех поразило, что Иван Алексеевич съел только два блина, подождал, когда они стали поджаренными и хрустящими. Оказывается, он не любит теста, и даже в ресторане «Прага», где для него пекут блины по его вкусу, он не съедает больше двух. Зато навагу он ел с большим удовольствием.

Когда стали вставать из-за стола, Иван Алексеевич тихо сказал мне: — Я придумал, нужно заняться переводами, тогда будет приятно вместе и жить и путешествовать, — у каждого свое дело, и нам не будет скучно, не будем мешать друг другу...

Я ничего не ответила, так как уже вошли в гостиную пить кофий, а подумала, как у него все неожиданно и как он ни на кого не похож! Это особенно меня пленило в нем.

Начался пост, впрочем, я в те годы была равнодушна к нему. Когда близкие люди говорили мне, что я жертвую собой, решаясь жить с ним вне брака, я очень удивлялась. Я была рада, что мне не нужно венчаться, я была в те годы далека от церкви. Но я никогда не кощунствовала, а потому мне было бы тяжело к таинству брака отнестись формально. И я была рада, что судьба, не позволяя вступить в брак законным образом, избавляла меня от того, во что я не верила. Иван Алексеевич был женат. Требовать развода я тоже не хотела, так как в те годы он был сопряжен с грязными подробностями, кроме того, едва ли его жена взяла бы вину на себя, а если он возьмет, то сразу все равно нельзя было бы венчаться, и я не затрагивала с ним никогда этой темы. Сын его два года назад умер³⁰. Думаю, что если бы он был жив, то я не стала бы «делить жизни» с ним, как он писал.

В марте я наконец решилась поговорить с папой и как-то днем, вероятно, в воскресенье или в праздник, войдя к нему, сказала:

— Знаешь, я с Буниным решила совершить путешествие по Святой земле.

Он молча встал, повернулся ко мне спиной, подошел к тахте, над которой висела географическая карта, и стал показывать, где находится Палестина, не сказав мне ни слова по поводу моего решения связать с Иваном Алексеевичем мою жизнь. Он был человек глубоко, по-настоящему верующий, хорошо знающий и церковные службы, и Священное писание, тонко чувствовал поэзию псалмов, поэтому мое решение было ему, конечно, тяжело, но он не хотел дать мне это почувствовать. У него была та свобода, которая бывает только у настоящих христиан.

С мамой я сама не говорила. С ней объяснялись братья, и они убедили ее. Братья меня очень любили, считая, что все, что я делаю, правильно. Я была старшая, и у них был ко мне пиетет.

Не помню точно числа, но знаю, что это было в марте.

В «Лоскутной» я однажды застала Ивана Алексеевича за корректурой его рассказов «Цифры» и «У истока дней», которые он печатал: первый в «Товарищеском сборнике» «Новое слово», в книге первой, а второй в альма-

нахе «Шиповник». Он обрадовался моему приходу, сказав, что я могу помочь ему. И дал мне гранки рассказа «Цифры». Я была счастлива: в первый раз в жизни приобщиться к литературной работе и особенно, когда я нашла опечатку. И он так хорошо улыбнулся, вероятно, догадываясь, что я чувствую.

Вскоре Иван Алексеевич опять ездил в Петербург, добывать деньги на путешествие.

10

Зайцевы собирались в Париж, где жил Бальмонт. И первого апреля мы вместе с их друзьями провожали их на Брестском вокзале.

Я продолжала готовиться и держать экзамены, но видела, что придется часть отложить на осень. Доканчивала практические занятия в лабораториях. Иван Алексеевич торопил, боясь жары в Палестине и Египте. Мне хотелось сдать все зачеты, и я сказала ему, что с 7 апреля буду свободна.

Мама уже примирилась. С ней долго говорил Иван Алексеевич. И она стала ходить со мной по портнихам. В доме чувствовалась предотъездная атмосфера.

Недели две до нашего отъезда Иван Алексеевич повез меня на «Среду»; она была не совсем типична: происходила не у Телешовых, и автор произведения отсутствовал. Я знала, что писатели любили и ценили «Среду» за дружескую атмосферу, неизменно царившую в ней, и за ту искренность, с которой велись в ней беседы. Каждый высказывал свое мнение совершенно свободно и даже вопрос хмурого Тимковского, часто задаваемый после прослушанного рассказа: «Собственно, зачем это написано?» — не обижал авторов.

Кроме писателей, там бывали люди, любившие литературу, видные художники, артисты и музыканты. Понятно, о «Среде» говорила вся Москва, и нам, молодежи, казалось несбыточной мечтой попасть туда, хоть только взглянуть на такой букет знаменитостей. Что до меня, то я ехала впервые на «Среду» с большим волнением, с чувством, что я должна вступить в какой-то заповедный мир.

Был мягкий вечер, хорошо, по-весеннему тянуло с Воробьевых гор, с таявшей Москва-реки, голые ветви высоких, уходящих к Девичьему монастырю деревьев, чуть колыхались... Свернули в узкий переулок, проехали мимо белых, вызывавших всегда некую жуть клиник, повернули еще и остановились перед частью, где жил полицейский врач Голоушев, звание которого на редкость не подходило к его живописной наружности, к его артистической душе³¹.

С Голоушевым я была знакома. В детстве, когда мы жили на даче в Давыдове (а он приходил в гости к С. П. Кувшинниковой³²), мама пригласила его ко мне, я была нездорова. В этом году я встретила с ним раз у Зайцевых. Он обладал свойством сразу выводить из смущения. Я скоро освоилась в новом для себя обществе. К сожалению, на этот раз «Среда» оказалась не очень многочисленной. Ярче других запечатлелись в моей памяти: сидевший за роялем и что-то музыкально исполнявший в ожидании чтения пожилой, с большой лысиной господин с умным, живым, но некрасивым лицом, как потом выяснилось, Алексей Евгеньевич Грузинский³³, профессор русской литературы, остроумный, веселый человек; его молодая жена Александра Митрофановна, с правильными сухими чертами лица и гордой осанкой женщины, знающей себе цену; писатель Гославский, высокий, красивый старик, с белой бородой³⁴; Белоусов Иван Алексеевич с печальным спокойствием в глазах³⁵; Разу-



БУНИН СРЕДИ ЧЛЕНОВ «СРЕДЫ»

Слева направо сидят: С. С. Голоушев, В. Н. Бунина, Л. Н. Андреев, И. А. Бунин, И. А. Белоусов; стоят: Ю. А. Бунин, А. Е. Грузинский, Н. Д. Телешов, Е. А. Телешова, С. Д. Махалов, Б. К. Зайцев

Фотография К. А. Фишера, Москва, 1910-е годы

Литературный музей, Москва

мовский-Махалов, драматург, большой плотный мужчина с круглым московским лицом³⁶; Телешов, которого, как я писала, знала и любила с отроческих лет.

Чтение происходило в кабинете Сергея Сергеевича. Он сел за свой широкий письменный стол, вынул белый сверток, развернул рукопись и стал читать «Иуда Искариот», новое произведение Андреева, присланное для прочтения с Капри, где он жил после смерти жены с матерью и старшим сыном Вадимом.

Заглавие меня волновало, действие происходит там, куда мы едем, и я с большим вниманием слушала, с интересом ожидая обмена мнений. Возможно, повлияло отсутствие автора, но критики и долгих разговоров это произведение не вызвало, было сделано несколько замечаний, Юлий Алексеевич указал, что эта тема волновала и Гёте.

За ужином тоже не говорили об «Иуде», а быстро перешли на шутки, на воспоминания о прежних «Средах», более пышных и многолюдных. Я расспрашивала, мне рассказывали. Кроме упорно молчащего Гославского да нервно дергающегося, сердитого Тимковского³⁷ с темным цветом лица, остальные были очень веселыми, остроумными людьми. Вспоминали об адресах, придуманных для каждого участника «Среды»³⁸.

Вспоминали и о том, как Скиталец певал под свои гусли волжские песни, как иногда расходился Шаляпин.

— Помните, — сказал Телешов, — как он явился к нам со словами: «Братцы, петь хочу...» и попросил меня вызвать Рахманинова. «Вы здесь меня слушайте, а не в Большом театре», говорил он в тот вечер, пел, правда, так, как никогда. Чтение было отменено, и что это был за кон-

церт! Уж не знаю, кто из этих замечательных артистов был выше! И как они друг друга увлекали!...

Прощаясь, все нам желали благополучного путешествия. И мне почудилось, что некоторым оно кажется очень рискованным.

2 апреля было первое представление новой пьесы Найденова. Мы с Иваном Алексеевичем получили приглашение на генеральную репетицию в Художественный театр.

Смотреть пьесу на генеральной репетиции очень приятно. Приятен этот домашний уют в театре, создаваемый столом с рефлектором в партере, за которым сидит режиссер, темнотой в антрактах, просто одетой публикой, волнением автора... В этот вечер автор прощается со своим детищем, завтра оно уже будет отдано на суд зрителям и критике.

В «Стенах» Ивану Алексеевичу многое понравилось, были места хорошо задуманные и удавшиеся, и я надеялась, может быть, по неопытности, на успех. Надеялся, хотя и с некоторым сомнением, и сам автор. Но, как известно, «Стены» успеха не имели и скоро сошли со сцены.

После репетиции мы небольшой компанией поехали ужинать в «Московский». За столом я сидела рядом с Найденовым и много с ним разговаривала. Он был возбужден. Рассказывал мне о своей жизни на Волге, о своих странствиях по ней, о том, как «прожег» небольшое отцовское наследство, о своем увлечении. Я спросила, почему он не пишет рассказов, раз у него такой богатый запас наблюдений.

Он ответил:

— Не могу, я все слышу, представляю себе в диалогах...

Потом мы опять вернулись к «Стенам». И я поняла главный недостаток этой пьесы, почувствовала, что быт ее автору чужд. Если память мне не изменяет, героиня ее, дочь профессора, порывает или хочет порвать с прежней жизнью, чтобы уйти в подполье.

На возвратном пути, когда Иван Алексеевич провожал меня, мы, конечно, говорили о пьесе, он сказал:

— Зачем Найденов, у которого так много жизненных наблюдений, написал пьесу из мира интеллигентов, которого он изнутри не знает? А в пьесе много хороших литературных мест. Жаль, если она не будет иметь успеха.

И, помолчав, прибавил:

— Самое тяжелое время для драматургов — это время от генеральной репетиции до утра после первого представления...

Я после премьеры не видела Сергея Александровича, Иван Алексеевич говорил мне, что он удивительно благородно пережил свой неуспех, хотя, вероятно, переживал его тяжело, но он был очень скрытным человеком.

Через несколько дней он уехал из Москвы.

11

Как-то я зашла к Ивану Алексеевичу на короткое время, нужно было о чем-то переговорить в связи с отъездом. Был чудесный день ранней весны, и я надела новую большую синюю пушистую шляпу. Он посмотрел на меня и сказал:

— Ну, таких шляп ты не будешь больше носить...

Я очень удивилась, не поняла, почему.

Он оставил меня завтракать, и, как всегда, когда мы ели в «Лоскутной», мы заказали наши любимые пожарские котлеты, которые там готовили необычайно вкусно, и полбутылку красного вина Понт-Кане. И, как всегда, он учил меня распознавать вина.

Иван Алексеевич во время таких завтраков заводил разговор с лакеями, которые очень любили и почитали писателей, несмотря на то, что они

ПРОГРАММА СОБРАНИЯ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН-
НОГО КРУЖКА

23 марта 1907 г. 1

Участники: Бунин, А. А. Блок,
И. А. Белоусов, Андрей Белый,
Б. К. Зайцев, А. М. Ремизов,
Н. Д. Телешов и др.

Музей И. С. Тургенева, Орел

Выпуск № 27
1906—1907 г.



МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК

Дирекция Литературно-Художественного Кружка
извещает гг. членов, что в пятницу, 23-го марта,
в помещении Кружка (Б. Дмитровская, Востряковских)

ИМЕЕТЬ БЫТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Гг. Александр Блок, И. А. Бунин, И. А. Бѣ-
люсовъ, Андрей Белый, Осипъ Дымовъ, Б. К. Зай-
цевъ, Сергій Кречетовъ, Алексѣй Ремизовъ, Викторъ
Страховъ и Н. Д. Телешовъ прочтутъ свои произве-
дения (стихи и художественная проза).

Гг. члены Кружка, какъ действительные, такъ и
сиреневатые, имѣютъ право на получение трехъ биле-
товъ: одного для себя и двухъ для дамъ своего семе-
ства.

Цѣны мѣстамъ: первые 12 рядовъ по одному руб.,
остальные по пятидесяти коп.

Гости входить по записи гг. действительныхъ чле-
новъ съ платою по три рубля.

Выдача билетовъ на нумерованные мѣста въ залѣ
исполнительнаго собранія производится въ конторѣ
Кружка со вторника, 20-го марта, ежедневно отъ 7-ми
час. веч. до 2-хъ ч. ночи.

Билеты, оставшіеся неразобранными гг. членами
Кружка до 2-хъ час. ночи четверга, 22-го марта, мо-
гутъ быть представлены гостямъ гг. действитель-
ныхъ членовъ.

Начало въ 9 час. вечера.

заставляли их работать во всякий неурочный час. В «Поскутной» можно было всю ночь спрашивать и еду, и вино.

Почти накануне нашего отъезда был в Художественном кружке вечер поэтов(...) Выступали и петербургские поэты, приехавшие по приглашению Кружка в Москву, и наши во главе с Брюсовым. Пригласили и Бунина, но «средняки» возмутились, настояли, чтобы он отказался.

Из московских поэтов запомнились Брюсов, Ходасевич, Кречетов, а из петербургских — во всем черном элегантный Маковский³⁹, еще совсем молодой человек.

Мы сидели на эстраде, сзади выступающих. Иван Алексеевич заявил, что он потерял голос и его не будет слышно. Но мне казалось, что ему хотелось посостязаться с «декадентами».

10 апреля был назначен день нашего отъезда, мы должны были начать нашу новую жизнь. Накануне собрались самые близкие мои друзья и приятели, и мы скромно провели этот вечер. Были и оба брата Бунины. Молодежь у пианино почти все время пела, среди других песен: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья...»

Иван Алексеевич опять долго пробыл в маминой комнате. Мама, смеясь, рассказывала, что он все твердил, что приданого никакого не нужно. Она взяла слово, что из Александрии мы пришлем телеграмму. Ей тоже наше путешествие казалось полным опасностей.

Наступила последняя ночь моя перед новой нашей жизнью. На душе было двойственно: и радостно, и грустно. В душе боролись вера с сомнениями. Но я старалась не думать об этом, а представлять себе наше путешествие. Мне очень было по душе, что оно не банальное, не Италия, не Париж.

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ В 1907—1908 гг.

1

С Курского вокзала мы направились в Столовый переулок, еще не решив, где остановимся. Дома узнали, что нам отведены две комнаты: спальня и кабинет папы (сам он переселился на время в мою комнатку). Мама сразу не вышла к нам. Когда я увидела ее, то слезы выступили у меня на глазах, так она изменилась: из полной стала худенькой и напомнила мне ее мать, мою бабушку, скончавшуюся, когда мне шел восьмой год. На меня это произвело такое впечатление, что туман, в котором я жила, рассеялся.

Комнаты Яну понравились. В его кабинете, выходившем в гостиную, стояла тахта, большой письменный стол, над которым висел мой портрет гимназисткой, в профиль, увеличенный одним из моих приятелей. Ян любил эту фотографию⁴⁰.

Мы разложили вещи. За завтраком обменивались впечатлениями с нашими о лете. Ян скоро ушел к Юлию Алексеевичу; я, посидев недолго с мамой, отлучилась на курсы, они были в двух шагах от нас, чтобы узнать расписание экзаменов.

Ян вернулся с братом и Колей, который уже нашел себе пристанище, кажется, у той же хозяйки, где они с Митюшкой жили в прошлом году. Мама оставила их обедать.

За обедом Юлий Алексеевич сообщил, что Телешовы еще на даче. Они 8 сентября, в день рождества пресвятой богородицы, пригласили своих друзей на целый день. Меня это огорчило, — в этот день рождение папы, и мне неудобно было бы уехать из дому.

Зайцевы вернулись из Италии, куда они поехали после Парижа, там встретились с друзьями, все влюбились в эту страну. Каждый мужчина купил себе панаму, загнул поля этой итальянской шляпы по-своему, и вид у всех был победоносный.

Недели три мы тихо прожили, Ян ввел кой-какие нововведения, попросил, чтобы на сладкое ему ежедневно варили яблочный компот.

В середине сентября он отправился в Петербург, надо было распродать написанное летом. Нужно было повидаться с Пятницким в «Знании». Вернувшись, с огорчением рассказал, что Пятницкий все еще за границей, ждут его к 30 сентября. Чаще всего Ян проводил вечера у Марьи Карловны Куприной, с которой с давних пор дружил и чье общество ценил, восхищаясь ее умом и остроумием.

Побывал он в издательстве «Шиповник», издателями которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать альманахи под редакцией Б. К. Зайцева. Для первого альманаха «Шиповник» приобрел у Бунина «Астму». Ян отнес Зайцеву рукопись Нилуса «На берегу моря». Редактору она понравилась, Ян мгновенно написал автору, что вещь его, вероятно, будет принята.

В Москве появился некий Блюменберг, основавший издательство «Земля» и пожелавший выпускать сборники под тем же названием⁴¹. Он предложил Ивану Алексеевичу стать редактором этих сборников. Шли переговоры за долгими завтраками. Ян был оживлен, но не сразу дал согласие. Сошлись на том, что редактор будет получать 3 000 рублей в год, условия хорошие. Ян принялся за дело с большим рвением.

30 сентября Ян снова поехал в Петербург, но Пятницкий еще не вернулся, — застрял на Капри. Он думал предложить «На берегу моря» «Знанию». Тогда он решил устроить вещь Нилуса в «Шиповнике», и это ему удалось. Дали аванс в 200 рублей, по условию, это произведение дол-

В. Н. МУРОМЦЕВА

Фотография. Москва, конец
1890-х годов

Литературный музей, Москва



жно было появиться не позднее весны 1908 года. Зайцев обещал свое содействие.

Ян то и дело отлучался в Петербург, ему необходимо было повидаться с Пятницким, узнать, как идут дела «Знания». «Шиповник» переманивал его к себе, как переманил Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонялся от окончательного ответа, хотя условия «Шиповник» предлагал заманчивые.

Гржебин, с которым я встретилась как-то у Зайцевых, — он у них тайно остановился, — сказал мне, что Иван Алексеевич «и самый легкий, и самый трудный из всех писателей». Он был прост, не напускал на себя важности во время переговоров, но добиться окончательного решения от него было трудно.

Художественный театр хотел поставить «Каина» в переводе Бунина, это было бы очень хорошо и в смысле материальном, — за два года Ян мог получить десять тысяч рублей. Но, к сожалению, это не осуществилось.

Четвертый раз Ян поехал в Петербург, но Пятницкий опять не оправдал ожидания, и Ян не знал, что ему делать. Желая устроить рассказ Нилуса «Госпожа Милованова» в журнале Марьи Карловны Куприной, он советовал автору переименовать рассказ и предлагал заглавие «Закат».

2

Выпал снег. У нас обедали Юлий Алексеевич и Федоров. После обеда мы сидели за самоваром. Разговор зашел об Андрееве, который недавно приехал в Москву: в Художественном театре репетировали его «Жизнь человека»; его сын Даниил воспитывался в семье Добровых, у сестры его покойной жены.

Раздался телефонный звонок. Старший из моих братьев Сева кинулся в переднюю.

— Легко на помине! Звонил Голоушев, просил передать, что они с Леонидом Николаевичем едут к нам, — сказал он взволнованно.

Я с Андреевым не была знакома. Как писатель он не трогал меня, — мне нравились только некоторые его рассказы. Все же ожидала его с большим интересом. Меня волновало, что я должна увидеть человека, перенесшего большое горе, — меньше года назад он потерял молодую жену. И я старалась представить себе, какой он? Я знала, что горе он переживал тяжело, что в Москве, где он был так счастлив, особенно остро чувствует свою потерю и что отчасти поэтому он переселился с матерью и со старшим сыном Вадимом в Петербург. В голове у меня мелькали обрывки рассказов о нем. Я вспомнила, как наш друг студент-медик Шпицмакер, придя к нам (вскоре после напумевшей «Бездны»), сказал: «Знаете, кто такой писатель Андреев? Это тот самый красивый брюнет, который ходил по Царицыну в распитой косоворотке и студенческом картузе, с хорошенькой барышней...» Вспомнила диспут по поводу «Записок врача» Вересаева в Художественном кружке: зал набит битком; на эстраде яблоку некуда упасть; во втором ряду Андреев, а впереди него причесанная на пробор хорошенькая, худенькая, с мелкими чертами лица наша курсистка Велигорская, теперь Андреева, в легком черном платье, из-под которого виднеется маленькая, изящно обутая нога.

Но вот раздался звонок, а затем я услышала смех в передней.

Поднявшись навстречу гостям, смотрела на Андреева. Он немного постарел и стал полнее с тех пор, как я видела его в «Кружке», показался даже немного ниже ростом, потому что стоял рядом с высоким Голоушевым (Андреев был коротконог). Поздоровался он со мной с милой ласковой улыбкой. Я предложила ему чаю. Налила очень крепкого, — знала, что он пьет «деготь».

Сразу завязался оживленный разговор, сначала о Горьком, о Капри... Я смотрела на черные с синеватым отливом волосы Андреева, на его руки с короткими худыми пальцами, на красивое (до рта) лицо, увидела, что он смеется, не разжимая рта, — зубы у него плохие, — что черный бархат его куртки мягко оттеняет его живописную цыганскую голову. Говорил он охотно, немного глухим однообразным голосом. Услышав меткое слово, остроумное замечание, заразительно смеялся. О Горьком говорил любовно, даже с некоторым восхищением, но Капри ему не понравилось, — «слишком веселая природа». Он решил построить дачу в Финляндии: «Юга не люблю, север другое дело! Там нет этого бессмысленного веселого солнца».

Затем начались разговоры о его работах. Он говорил о них с особенным удовольствием. Он только что закончил трагедию «Царь-Голод», а новая повесть его «Тьма» скоро должна была появиться в альманахе «Шиповник».

— «Знание», — говорил он, — не простит мне этой измены, но мне нужны деньги, а «Шиповник» гораздо щедрее на гонорары...

Затем он внезапно заявил: «Страшно хочется в „Большой Московский“ — еще ни разу не был после возвращения из-за границы».

На отговаривание Голоушева он только лукаво усмехнулся:

— Не беспокойся, Сергеич, мы с тобой и в «Московском» будем пить только чай; а посидеть с друзьями мне очень хочется, ведь ни Ванюши, ни Юлия я еще путем не видал.

В передней, когда он накинул на себя дорогую шубу с серым смушковым воротником и заломил назад такую же шапку, Ян напомнил ему про старую отцовскую шубу, которую он носил по бедности в студенческие годы и которая была похожа, по словам Яна, на собачий домик. Андреев очень хорошо засмеялся.

Через четверть часа очутились в белом, огромном, залитом светом зале. Довольно долго выбирали где лучше сесть. Наконец сели, заказали фрукты, вино, а для Андреева чай. Я сидела рядом с Голоушевым. Он был дружен со многими художниками, почти со всеми московскими писателями, а с Андреевым особенно, проявляя по отношению к нему большую нежность и заботливость.

За разговорами мы и не заметили, что стакан чаю перед Андреевым стоит нетронутым и что в руке у него изумрудный на топазовой ножке бокал. Но в ответ на горестно-упрекающий взгляд Голоушева он только опять хитро подмигнул и неожиданно сказал:

— А что, братцы, не поехать ли нам к Яру? Давно не был я в Петровском парке, страшно соскучился по хорошей русской зиме. Едем! Едем!

Голоушев попробовал было отговорить его, но, быстро поняв, что это бесполезно, простился и уехал. Мы наняли лихача и «голубцы», небольшие сани парой, и, разместившись — Юлий Алексеевич с Севой на лихаче, а Андреев с Федоровым и нами на «голубцах», — шибко понеслись по Тверской, по белому свежему снегу. Ночь была мягкая. Было необыкновенно весело от остро пахнущего воздуха, от бубенцов, от быстрой езды по пустынной улице, ярко освещенной гелиотроповыми шарами. За Тверской заставой нас то и дело обгоняли тройки — Москва праздновала «первопуток».

Возбужденные этой скачкой, мы шумно ввалились в вестибюль и, сбросив шубы, направились в парадный светлый зал, такой высокий, что столики в нем казались странно низкими. Писатели опять начали обсуждать, где им сесть. Наконец место выбрано в углу у входа, шампанское, жареный миндаль заказаны.

Андреев, очень веселый и благодушный, опять говорил, как он рад, что он в Москве, среди друзей, неожиданно перешел на «ты» с Федоровым, которого называл шутя «Азорскими островами». Александр Митрофанович недавно возвратился из Нью-Йорка, куда ходил на пароходе со знакомым капитаном, во время остановки он побывал на одном из Азорских островов, а затем что-то написал о них. Леонид Николаевич продолжал рассказывать о своих новых произведениях, хохотал, слушая шутки Яна, который, глядя, с каким удовольствием Андреев пьет, сравнил его с верблюдом, «дорвавшимся до колодца после долгого перехода по пескам пустыни».

— Ох, Ванюша, — отвечал он, — когда я с тобой, у меня щеки ломит от смеха.

Впрочем, все чаще и чаще он начинал впадать в грусть, опять вспомнив, что у него произошел разрыв с «Знанием» из-за «Шиповника», уверял, что Горький ему этого никогда не простит, говорил о своей финляндской даче: «Я хочу, чтобы она была мрачная, как финская природа!» Неожиданно он напал на Толстого и стал доказывать, что «Война и мир» не настоящий исторический роман.

Тут чуть не случился скандал, могущий плохо кончиться: какой-то военный, встав против оркестра, вынул саблю из ножен и стал дирижировать. Сева, найдя, что тот не имеет на это права, кинулся к нему. За ним Юлий Алексеевич и Федоров. Едва уговорили Севу вернуться к столу.

Уже светало, когда мы вышли и уселись по-прежнему. Андреев попросил проехаться по Ходынскому полю. Юлий Алексеевич с Севой поехали домой. А мы свернули к Ходынке.

— Ах, как я соскучился по снегу, — повторял Андреев упавшим голосом. — Нет, без севера жить нельзя. Горького, вечно сидящего на Капри, не понимаю! — прибавил он злобно.

Выехав в открытое поле, мы на минуту остановились. Он нагнулся, захватил горсть снега и жадно понюхал его.

Бедный Федоров совсем осовел, застыл в своем легком пальто. Спрятав руки в карманы, он забыл о папиресе, которая, переломившись, смешно болталась в его посиневших губах. Я приказала ямщику ехать в «Лоскутную».

Андреев опять говорил о «Царь-Голоде», ему хотелось сейчас же прочесть его нам. У «Лоскутной» он настойчиво начал просить подняться к нему.

Федоров сейчас же простился и ушел к себе.

В номере Андреева, при утреннем зимнем свете, он с бледным похудевшим лицом, с горящими глазами, стоя, читал, как «Смерть ест бутерброд», и, мрачно отбивая такт ногой, напевал:

— Там, там, там... Там, там, там...

Через несколько дней он читал эту пьесу у Добровых. Было много народу, много незнакомых нам лиц, непричастных к литературе, — Андреев любил, чтобы его слушали не только одни писатели. В тот вечер он был совсем не похож на того, каким я его видела в первый раз. Как всегда на людях, среди поклонников, он был серьезен, молчалив, даже несколько мрачен. Читал глухо, однообразно, ни на кого не глядя.

3

Через несколько дней, как-то вечером Андреев по телефону пригласил нас приехать к нему. Мы собрались и поехали.

Навстречу нам, кроме хозяина, встал еще кто-то огромный, в блузе, с прямыми откинутыми назад каштановыми волосами, с необыкновенно мощной шеей, с бантом белого галстука, широко раскинутым по вороту блузы. Я сразу узнала Скитальца. На столе стояли две бутылки шампанского.

Андреев был бодр, оживлен, но очень бледен. Он больше стоял или ходил, держа бокал в руке, и все говорил, говорил:

— Хорошо было бы написать сказочку, как мать рассказывает больному сыну,нося его по комнате, что вот пришел великан, такой страшный, большой великан... и упал великан... и мальчик затихает, засыпает... Только и всего...

Я разговаривала со Скитальцем. Пугая меня своей шеей, которая, раздуваясь, выпирала очень большой кадык, он рассказывал о себе. Я слушала его с большим интересом: года два-три перед этим он гремел на всю Россию.

— Я бродяга, певец, писателем я сделался случайно, — рисуясь, говорил он басом. — Горького я боготворил. Я думал: вот настоящий друг! Верил, что он любит меня, Степана, а оказалось, что ему важны были мои писания да выгоды от них, а не я сам. Это самое большое разочарование в моей жизни⁴².

Шампанское было выпито. Андреев позвонил. Лакей внес на большом подносе холодного каплуна, ветчину и еще две бутылки Мумма.

Андреев ничего не ел, только пил и, стоя, говорил, говорил. Я одним ухом слушала Скитальца, а другим отрывочные фразы Андреева.

— Понимаешь, Ванюша, понимаешь, меня все всегда настраивали и настраивают против тебя, даже покойная жена настраивала, а все-таки я люблю тебя.

— А Куприна? — спросил Ян.

— Нет, его не люблю как писателя, — в нем не душа, а пар, знаешь, как у собак.

— К черту интеллигенцию! Вся она разделяется на три типа: инфлюэнт, нэврастеник и алкоголик.

— Да, тяжело одному, иногда хочется прийти и положить на женские колени голову. Мне очень тяжело.

— Вот пришел великан, большой сильный великан и упал великан, упал великан.

Я попробовала его уговорить лечь спать. Он усмехнулся:

— Спать! Нет, спать я буду этак дня через два.

Засиделись опять до рассвета.

Из «Лоскутной» я прямо направилась за какой-то справкой на курсы, и мне было весело, что никому и в голову не приходило, что я провела бессонную ночь.

Приехал в Москву Найденов и тоже остановился в «Лоскутной». Иногда он обедал у нас. И я чем чаще встречалась с ним, тем больше чувствовала, как он мало похож на своих «славных» собратьев. Ян за это его любил. И не раз говорил: «Тяжелый человек, но до чего прекрасный, редкого благородства!»⁴³

К своей славе он относился трезво, понимая, что зенит ее уже прошел, и никогда не пытался подогревать ее. Ян как-то при мне передал мнение о нем Чехова, что он может написать несколько пьес неудачных, а затем напишет опять нечто замечательное, но Найденов только усмехнулся. Не стремился он и к популярности. С большой мукой соглашался участвовать на благотворительных вечерах и, когда выходил на эстраду, то, пробормотав что-то, как можно скорее уходил в артистическую.

По природе своей он был неразговорчив: в обществе, как я уже писала, чаще молчал, но в дружеском тесном кругу охотно рассказывал всякие истории из своей жизни. Любил разговоры о современной литературе, о писателях, о славах, которые вспыхивали в те годы, как римские свечи, а затем так же стремительно гасли; любил в шутку гадать: за кем очередь взлететь?

Актерской среды не жаловал. Однако вскоре женился на актрисе, очень милой, живой, энергичной женщине.

4

Через неделю я покончила с экзаменами. И мы с Яном поехали в Петербург в отдельном купе первого класса. Остановились в «Северной гостинице», против Николаевского вокзала. Первым делом Ян позвонил по телефону М. К. Куприной, она пригласила нас к обеду, сказав, что у нее будут адмирал Азбелев⁴⁴ и Иорданский⁴⁵, оба сотрудники ее журнала.

С Азбелевым Ян встречался. Он был воспитателем Георгия Александровича, покойного наследника престола, рано умершего от туберкулеза. Знал Азбелев всю царскую семью, рассказывал, что Николай второй искренне верил, что он помазанник божий. Блюменберг решил издать Киплинга, Иван Алексеевич рекомендовал Азбелева как переводчика и согласился редактировать эти переводы, а потому обрадовался, что увидит его и переговорит с ним. С Иорданским он тоже был хорошо знаком. Тот заведовал в журнале внутренним обозрением.

Редакция и квартира М. К. Куприной находились в то время у Пяти Углов. Нас встретила молодая дама, похожая на красивую цыганку, в ярком «шушуне» поверх черного платья. Приглашенные — адмирал в морской форме, небольшого роста, с приятным лицом, человек лет пятидесяти, и высокий, с темными глазами Иорданский, еще совсем молодой, — уже ждали нас. Иван Алексеевич удалился в угол с Азбелевым и быстро сговорился с ним относительно его перевода рассказов Киплинга.

За обедом разговоры шли все время на литературные темы, говорили о «Шиповнике», который может убить «Знание», так как там печатается глав-

ным образом «серый» материал, а уход Андреева, действительно, может нанести удар этому издательству. Передавали, что Андреев сейчас в большой моде. Строит дачу в Финляндии, а пока живет широко в Петербурге, часто отлучается в Москву, чтобы присутствовать на репетициях «Жизни человека». Разговоры не переходили в споры, а потому мне было особенно приятно их слушать, — я впервые была в редакции популярного журнала, и при мне говорили обо всем свободно. И вот среди такой мирной беседы раздался телефонный звонок. Мы узнали, что через четверть часа придет Александр Иванович и состоится первая встреча Куприных после разрыва.

Ян начал было прощаться, — мы пили кофий, — но Марья Карловна нас удержала.

Вскоре в дверях, немного сутулясь, появился Куприн с красным лицом, с острыми, прищуренными глазками. Его со мной познакомили. Александр Иванович молча, грузно опустился на стул между хозяйкой и мною, неприязненно озираясь. Некоторое время все молчали, а затем загорелся диалог между Куприными, полный раздраженного остроумия. Глаза Марьи Карловны, когда она удачно парировала, сверкали черным блеском. Иорданский, уставившись в одну точку своими темными глазами, не произнес ни единого слова. Он скоро ушел, за ним поднялся и Азбелев.

Нас Марья Карловна опять не отпустила, видимо, не желая оставаться наедине с Александром Ивановичем. Конечно, бутылка с «коротким напитком», как Куприн называл спиртное, осушилась быстро.

— Мне говорили, что вы красивая, — неожиданно обратился он ко мне, — а между тем...

Я хотела ответить, но удержалась, видя, что он сильно во хмелю: «Не всякому слуху верь... мне говорили, что вы воспитанный офицер, а между тем...» (Когда я потом рассказала об этом Яну, он заметил, что и Анне Николаевне, его жене, Куприн при первом знакомстве сказал нечто подобное. «Вообще он любит в лицо сказать неприятность», добавил Ян.)

Ян, чувствуя, что Марью Карловну тяготит это свидание, стал настойчиво звать Александра Ивановича в разные места. Но пришлось довольно долго уламывать его. Наконец он соблазнился. Прощаясь, мы условились увидаться с Марьей Карловной через два дня у Ростовцевых⁴⁶.

Куприн просил Яна заехать с ним к Елизавете Морицовне⁴⁷, она, — говорил он, — волнуется, как сошло свидание, а ей волноваться вредно, ибо она ждет ребенка. Мы заехали в «Пале-Руаяль», излюбленную писателями гостиницу на Николаевской улице, и застали Елизавету Морицовну на площадке, кажется, третьего этажа. Она была в домашнем широком платье. Увидав Яна, просила, даже взяла слово, что он привезет обратно Куприна. Ян обещал его не отпускать. И мы поехали дальше, побывали в каких-то ночных притонах, где я увидела мужчин с мрачными, испытанными лицами и женщин в ярких вызывающих нарядах. Везде стоял дым коромыслом. В длинном зале мы поравнялись с господином, одиноко сидевшим за бутылкой красного вина, Ян меня с ним познакомил. Это был Потапенко, поразивший меня сизо-бронзовым цветом лица. Куприн потащил нас дальше.

Наконец мы сели за столик, и Александр Иванович сообщил, что он свою новую вещь «Суламифь» запродавал в «Шиповник». Ян высказал сожаление, что она не попадет в «Землю», где гонорары выше. Куприн обрадовался:

— Знаешь, Ваня, мне деньги вот как нужны, если дадите, — и он назвал внушительную сумму за лист, — то я пошлю всех к черту, но деньги она бочку.



В. Н. МУРОМЦЕВА

Портрет работы М. Зайцева (масло)

Москва, начало 1900-х годов

Музей И. С. Тургенева, Орел

— Хорошо, дадим, дадим! — ответил Ян, — завтра днем мы увидимся, и ты получишь требуемую сумму, если передашь мне рукопись.

Вернувшись в «Пале-Руаяль», мы застали Елизавету Морицовну на том же месте, где ее оставили. Лицо ее, под аккуратно причесанными волосами на прямой ряд, было измучено.

На следующий день Куприн вручил Яну «Суламифь» и получил гонорар. Это вызвало бурю: писатели, заинтересованные тем, чтобы эта вещь была в «Шиповнике», так рассвирепели на Ивана Алексеевича, что не подали ему руки, особенно негодовали Арцыбашев и поэт Андрусон.

В этот день Ян побывал у Блока и приобрел у него стихи, заплатив по два рубля за строку. Блок произвел на него впечатление воспитанного и вежливого молодого человека. Вечером мы поехали в «Вену» и ужинали в этом популярном ресторане средней руки. Хозяин любил литературу и даже завел книгу, куда литераторы вносили свои впечатления. Около

полночи в зал стремительно вошел Блок с высокой красивой женой, на ней было блестящее розовое платье и что-то похожее на золотую корону.

Опять засиделись далеко за полночь. Петербург гораздо позднее ложился, чем Москва. Мы уже чувствовали большую усталость, но мне все это было внове, а потому хотелось везде побыть подольше.

5

Собирались мы в гости к Андрееву. За окнами, сквозь кисею падающего снега, в ярком свете фонарей сверкал тяжелый памятник Александру III. Сели в санки, повесились по Невскому. Снег залеплял глаза, леденил веки, я то и дело закрывала глаза меховой муфтой. Вот и белая Нева, длинный мост и наконец Каменноостровский. Остановившись у нового дома, вошли озябшие в подъезд, поднялись на лифте.

Хозяин встретил нас очень радушно. Познакомил меня со своей матерью, худой, еще не старой женщиной, в черном платье. Она сидела за самоваром. Вокруг стола, кроме Скитальца, все новые лица. Леонид Николаевич меня познакомил: Серафимович, Юшкевич, Копельман.

Он указал мне место около матери. С интересом я смотрела на ее грустное лицо. Она была приветлива, обрадовалась, что я «москвичка»: к Петербургу она еще не привыкла, чувствовала себя в этом «холодном» городе как-то стеснительно. Слушая ее низкий, немного хриплый голос, удивляясь, как она много курит, я начала разглядывать сидящих за столом.

От смущения я не запомнила, кто Юшкевич, кто Серафимович, кто Копельман. Начала гадать. Господин с выпученными глазами уж очень не похож на писателя. Решаю — и правильно: это Копельман, издатель «Шиповника». Но кто же Юшкевич, кто Серафимович? Никак не пойму: у обоих большие лица и почти нет волос, оба заикаются, хотя и по-разному. Только у того, что ниже ростом, огромные желтые зубы, калмыцкие скулы и почти совсем голый череп, который он часто, с какой-то ехидной усмешечкой, поглаживает. А высокий человек с большим темпераментом, прерывистым голосом что-то громко рассказывает о театре Комиссаржевской.

За ужином меня посадили между Юшкевичем и Серафимовичем. Но я все еще не могла определить, кто из них кто. Вино подняло настроение, все заговорили громче обычного. Закипели споры, посыпались имена: Городецкий, Сологуб, Арцыбашев. Громче всех кричал, больше всех горячился, восхищаясь этими модными писателями, мой сосед слева, — он-то и оказался Юшкевичем.

— Вы, как негр, Юшкевич, — ласково обращаясь к нему, сказал Ян, — как негр, который носит самые высокие модные воротнички.

— А вы, — отрывисто бросает Юшкевич, — вы не хотите никогда видеть в модном ничего хорошего, я же люблю *искать*, мне старое быстро надоедает.

— Хорошее, талантливое никогда не должно надоедать, — возражает Ян, — да и откуда вы взяли, что я не хочу видеть таланта там, где он действительно есть? Только, на беду, я его так редко вижу.

— Нужно искать и искать! — не слушая, кричит Юшкевич. — Вот, например, Рукавишников ⁴⁸.

Но мое внимание отвлёк Копельман, который, с нажимом произнося каждое слово и ударяя указательным пальцем по воздуху, поучал:

— Нет, теперь наступает время романа. Леонид Николаевич должен писать роман. Короткие рассказы отжили свой век.

Андреев, отхлебывая чай, слушал с усмешкой и молчал. Молчал и Скиталец.

После ужина мы сидели в темном кабинете у горящего камина. Андреев говорил со мной. Расспрашивал об экзаменах. И, узнав, что я с ними покончила, сказал: «Я думал, что вы всегда будете их держать...» Потом говорил, что, вероятно, я много слышала о нем дурного, как и он обо мне. Я, по правде сказать, удивилась: кто мог обо мне говорить дурно, и почувствовала, что это он говорит готовыми фразами. Сообщил, что скоро мы увидимся в Москве, опять в «Лоскутной». Я смотрела на затейливо горевшие дрова. Огонь, пожары привлекали меня с детства.

Возвращаясь домой, я расспрашивала Яна о своих новых знакомых, что они за люди? Неистовство Юшкевича, многозначительное молчание Скитальца, ехидство Серафимовича, — все удивляло меня.

— Юшкевич нравится мне, — заметил Ян, — он всегда несет и с Дона и с моря, но человек талантливый, живой, органический, а вот Серафимовича терпеть не могу. Обратила ты внимание на его лошадиные зубы?

6

У нас было так много приглашений, что на осмотр города не оставалось ни одного часа.

Выдался особенно трудный день. Мы приглашены к завтраку за город к нашему другу, профессору Политехнического института, Андрею Георгиевичу Гусакову. От Выборгской стороны по Самсоньевскому проспекту ходил паровичок, с несколькими вагонами (через несколько лет проложили трамвайный путь). За завтраком был Владимир Матвеевич Гессен, большой друг Андрея Георгиевича. Пробыли мы там не больше двух часов, так как у Яна были свидания по сборнику, а кроме того, мы должны были нанести визит Рахмановым, которые уже не занимали квартиры при Министерстве народного просвещения, а переехали на Николаевскую улицу, так как дядя вышел в отставку. Вечер мы должны были провести у Ростовцевых.

Хорошо, что журфиксы в Петербурге начинались почти в 11 часов, и мы могли отдохнуть после обеда.

Без четверти одиннадцать мы вышли из гостиницы и сказали извозчику везти нас на Морскую, где жили Ростовцевы. И все же оказались первыми гостями. Встретила нас хозяйка, Софья Михайловна, высокая, хорошо сложенная, со вкусом одетая дама. Сообщила, что Михаил Иванович в Маринском театре, слушает оперу Вагнера. Она ввела нас в просторный кабинет с удобной мебелью, с большим письменным столом, на котором лежала наполовину разрезанная книга модного писателя, если память не изменяет, Сологуба.

Не успели мы сказать несколько слов, как стали появляться гости. Я восхищалась умением хозяйки вести непринужденную беседу на различные литературные темы. Она была в курсе всех течений, ловко иллюстрировала несколькими строками только что прочитанного поэта. Ян помогал ей, становилось интересно, весело. В полночь явился хозяин, небольшого роста, коренастый, с умными глазами и свободными манерами, человек лет тридцати пяти. Он сразу заговорил о Вагнере, об опере, которую он только что прослушал, говорил с блеском, чуть улыбаясь.

Через четверть часа нас пригласили «на чашку чая». Все поднялись и направились в столовую, большую комнату с очень длинным столом. Пока рассаживались, появился профессор Кареев⁴⁹, которого я знала в лицо. Высокий, породный, с широкой белой бородой (вероятно, приехал с заседания). Моей соседкой слева оказалась писательница Леткова-Султанова⁵⁰, красивая, крупная, уже пожилая брюнетка. Из знакомых была только М. К. Куприна, она сидела с Яном, и они о чем-то оживленно говорили (думаю, что об Александре Ивановиче).

Перед каждым прибором стояла чашка чаю, на столе выстроились бутылки разнообразных дорогих вин. Лакеи начали подавать горячие закуски, подавали без конца. Вот так «чашка чая», подумала я. Влетел высокий, стройный, с рыжими волосами на косой пробор, очень живой, весело смеющийся человек. От Летковой узнала, что это художник Бакст⁶¹. Леткова со мной была очень мила, вероятно, почувствовала мое смущение среди почти незнакомых людей и старалась меня из него вывести. Расспрашивала о московской писательской среде.

Часов до двух ночи никто не трогался с места. Потом понемногу стали подниматься более пожилые гости. Первым простился маститый Кареев. Недолго пробыл и Бакст. Часам к трем осталась небольшая компания: Марья Карловна, Котляревские — Нестор Александрович, академик и профессор по русской литературе, его жена Вера Васильевна, высокая красивая дама, артистка Александринского театра, брат хозяина, военный, Федор Иванович, и мы. Тут началось уже непринужденное веселье. Стоял неумолкаемый смех, Ян изображал мужиков, мещан, мелких помещиков. Ростовцев вставлял острые замечания, Софья Михайловна опять цитировала одного из современных гениев, Марья Карловна не отставала от нее, время летело так быстро, что, когда опомнились, оказалось уже половина шестого. Долго еще стояли в передней, и, прощаясь, Михаил Иванович с Яном чуть не поцеловали друг у друга руку, в последнюю секунду опомнились и от смущения друг перед другом выкинули антраша.

На следующий день Ян доканчивал свои дела, а вечером мы были на каком-то ужине, где присутствовали литераторы, адвокаты, общественные деятели. Там впервые я увидела поэтессу Крандиевскую⁶². Ян знал ее мать, писательницу, а «Туся», как ее звал Ян, подростком приходила к нему читать свои стихи. (Об этом я прочла в ее талантливой книге «Я вспоминаю».)

Она приехала с мужем. С ним я была знакома в отрочестве; он был на редкость красив. Жил в качестве репетитора в знакомой семье, проводившей лето в Царицыне. Он узнал меня и сел рядом. Туся была прелестна в своем золотистом платье с букетиком фиалок у пояса. Поразил меня ее ровный цвет лица, оттененный легким румянцем.

Федор Акимович Волкенштейн, ее муж, был в то время уже известным присяжным поверенным. Меня удивило, как он говорил о жене, о ее творчестве, рассказывал, что она иной раз неожиданно уезжает одна в Финляндию, когда ей особенно хочется писать стихи. Приглашал к себе:

— Иван Алексеевич будет беседовать с Тусей, а мы с вами вспомним Царицыно.

Я поблагодарила, но отказалась, так как на другой день мы должны были покинуть Петербург.

7

В Москве шли разговоры о предстоящей премьере «Жизни человека» Андреева. Ян стал поговаривать, что следует хоть на месяц поехать в деревню. Материал для сборника «Земля» он уже передал Блюменбергу, сам дал «Тень птицы», и теперь свободен на некоторое время, а писать ему хочется. Я ничего не имела против того, чтобы пожить зимой в Васильевском, такой глубокой зимы я еще в деревне не переживала. И мы решили после первого представления «Жизни человека» уехать из Москвы.

Тут обнаружилась черта Яна, — всегда откладывать свой отъезд.

Вскоре мы услышали, что Андреев в Москве. В Москву приехала и М. К. Куприна, которая нас как-то вечером по телефону пригласила в «Лоскутную».

Цена 20 коп. 6

Леонид Андреев и Ив. А. Бунинъ.

Леонид Андреев и Ив. А. Бунинъ.

Восходящія Звѣзды.



Сборникъ рассказовъ и стихотворений.

Собрать и въ свѣтъ выпустить С. С. Полытуса.

Восходящія Звѣзды.

Сборникъ рассказовъ и стихотворений.

Сочиненный сборникъ рассказовъ Л. Андреева.
 Жаль, что не успѣли издать: Ив. Бунинъ.
 «То, что я пишу, — это не поэзия!» С. С. Муромовъ.
 Илья Гурьяновъ. Ив. Бунинъ.
 Какъ я люблю се (стихотвореніе) К. Фадеева.
 Стихотвореніе Л. Андреева.
 Встрѣча (стихотвореніе) С. Фруга.
 Стихотвореніе, которое я пишу (стихотвореніе) Ив. Бунинъ.
 О своемъ дѣлѣ (стихотвореніе) С. Фруга.

Издание С. С. Полытуса.

ОДЕССА
Сборникъ «Восходящія Звѣзды» изъ Одессы. 1902 г.

«ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ. СБОРНИК РАССКАЗОВ И СТИХОТВОРЕНИЙ». ОДЕССА, 1902

Здесь помещены произведения Л. Андреева, Бунина, Мережковского, Фаданова, Фруга

Обложка и титульный лист

У нее в номере мы встретили Леткову-Султанову в черном шелковом платье и Андреева. Леткова, глядя на его мрачное лицо восхищенными глазами, говорила:

— Ах, Леонид Николаевич, как я рада, что так неожиданно, да еще здесь, в Москве, встретила вас! Мы с баронессой Иксуль⁵³ ваши горячие поклонницы и всегда вместе читаем ваши произведения, потом обсуждаем, переживаем. Как все у вас глубоко, оригинально, как волнует! Вот теперь вернусь в Петербург, будем вслух читать вашу новую вещь в «Шиповнике».

— Я недоволен ею. Не вышло, что задумал, — отвечал Андреев. — Твоя, Ванюша, «Астма» гораздо удачнее, это лучшая вещь в альманахе, и знаешь, у меня ведь тоже астма, как прочел, так и почувствовал, что задыхаюсь.

— Бог с тобой, какой ты астматик! — смеялся Ян.

— А мне между тем все кажется, что я задыхаюсь, — настаивал Андреев.

Он был в дурном настроении. Да и мы чувствовали себя натянуто, нас стесняло присутствие Летковой, восторженное преклонение которой перед Андреевым нарушало обычную непринужденную атмосферу наших ночных свиданий. Кто-то спросил Андреева, почему он сегодня не в духе.

— Я только что от Добровых. Видел сына, который все чему-то радуется, улыбается во весь рот.

— Но это прекрасно, значит, мальчик здоров, — сказала я.

— Ничего прекрасного в этом нет. Он не имеет права радоваться. Не от чего ему быть жизнерадостным. Вот Вадим у меня другой, он уже понимает трагедию жизни.

Через некоторое время он встал и ушел, сказав, что у него болит голова. Когда наконец поднялась и Леткова, мы пошли к Андрееву, и он неожиданно встретил нас весело:

— А я уже хотел посылать за вами, только боялся, что моя поклонница все еще у вас. Вот сейчас принесут холодный ужин, и мы славно проведем время.

И, действительно, ужин этот был особенно оживлен. Марья Карловна была в ударе, ее острый ум, беспощадный язык очень возбуждал собеседников. И о чем только они ни говорили! Кого только ни вспоминали и ни разбирали по косточкам, изображая всех в лицах!

Марья Карловна мне казалась взрослее меня, хотя, думаю, разница в возрасте была не очень большая. Может быть, потому, что ум ее был чуть пиничен, что она была находчива, стояла во главе популярного «Современного мира» и со знаменитыми писателями была на короткой ноге. Приехав по делам, она недолго оставалась в Москве.

После ее отъезда Андреев пригласил Юлия Алексеевича, Зайцевых, нас и еще кого-то в «Прагу» ужинать. С ним была его мать. Будучи нежным сыном, он брал ее в ресторан, когда хотел провести вечер с близкими друзьями.

— Я честолюбив, Ванюша, а ты самолюбив, — сказал он неожиданно, обратившись к Яну, когда тот с удовольствием ел вечного своего рябчика.

— Пожалуй, ты прав, — ответил с улыбкой Ян, — я, действительно, очень самолюбив.

— А я нет. А честолюбие у меня большое.

Он был хорошо настроен в ожидании постановки «Жизни человека». Вина не пил (вероятно, присутствие матери удерживало его). В этот вечер они с Верой Зайцевой перешли на «ты».

Николин день провели с гостями дома, а вечером отправились на именины Н. Д. Телешева. Там была почти вся «Среда». Мне очень нравилась хозяйка ⁵⁴, которая была ко мне внимательна. Ее брата, Александра Андреевича Карзинкина ⁵⁵, я знала с тринадцати лет. Он был другом Алексея Васильевича Орешникова ⁵⁶, на даче которого я видела его в первый раз. Он тогда только что вернулся из Туркестана, где у него были хлопковые плантации. Он принес из своего погреба бутылку старого вина, поставил ее перед Яном.

На первом представлении «Жизни человека» мы не были. Нас пригласили, к моему удовольствию, на генеральную репетицию. Впечатление у меня было странное, — я до конца не поняла этой пьесы. Успех она имела. Во многих газетах появились хвалебные статьи.

Наконец после долгих откладываний, мы накануне Рождества уехали в деревню, оставив в комнатах большой беспорядок, очень смешивший маму. Она говорила, что мы чем-то очень похожи друг на друга.

Взяли путь через Орел; где была пересадка на Юго-Восточную железную дорогу.

8

В Измалково мы приехали, когда было темно. За нами были присланы широкие сани и тулупы. Выехав в поле, мы увидели, что снизу метет. Ян сказал:

— Ведь это поземка! Будь внимателен, Илюша.

Некоторое время мы ехали по дороге, я с наслаждением смотрела на небо, на бесконечное снежное поле.

Неожиданно Ян крикнул:

— Илюша, ты сбился с дороги, разве не видишь? Мы съехали в овраг!

Лошади остановились, мы вышли из саней. Снизу сильно мело, а в небе были огромные звезды. Сириус так и сверкал своим синим огнем, голубая Вега и красный Арктур меня обрадовали, точно я встретила родных,— давно я не видела такого зимнего неба. А Ян уже со страхом в голосе кричал:

— Пропали, пропали!

И вместе с кучером куда-то тащил сани, которые глубоко увязли. Я стояла очарованная, не понимая, почему он так волнуется. Наконец после долгих усилий сани были вытащены на более высокое, твердое место, и он сказал Илюше, указывая на звезды, куда надо держать путь. Мы стали медленно подвигаться вперед. Через некоторое время слышали колокольный звон.

— Это на глотовской колокольне звонят,— сказал Ян,— поняли, что мы заплутались, хотят дать нам направление, нужно ехать по звону.

Софья Николаевна, Коля и Петя, действительно, были встревожены нашим запозданием. И как показалось уютно в теплом помещицьем доме!

Ян в деревне опять стал иным, чем в городе. Все было иное, начиная с костюма и кончая распорядком дня. Точно это был другой человек. В деревне он вел строгий образ жизни: рано вставал, не поздно ложился, ел вовремя, не пил вина, даже в праздники, много читал сначала, а потом стал писать. Был в ровном настроении.

К праздникам относился равнодушно. Не выходил к гостям Пушениковых. Сделал исключение для моих родственников, которые у нас обедали. За весь месяц Ян только раз нарушил расписание своего дня.

Мы иногда катались. Как-то поехали вдвоем на бегунках в Колонтаевку. День был солнечный, с синим небом, и все было покрыто инеем. Мы пришли в такое восхищение, что Ян подарил мне в память этого дня свою книгу, написав одно слово: «Иней».

По вечерам Ян не писал. После ужина мы выходили на вечернюю прогулку, если бывало тихо, то шли по липовой аллее в поле. Любовались звездами, Коля знал превосходно все созвездия. Когда, по болезни, он зимы проводил с бабушкой в Каменке, то с увлечением читал астрономические книги, изучая небо. Они с Яном отличались острым зрением и видели все, что можно видеть невооруженным глазом, не то, что я со своей близорукостью и редким астигматизмом, на который никто, да и я, не обращали внимания. В лунные вечера мы любовались искристым снегом и иногда одиноким Юпитером. Вернувшись домой, сидели в кабинете Яна, он чаще всего читал вслух новый рассказ или критику из полученной новой книги журнала, а иногда что-нибудь из любимых авторов. Он писал «Иудею», просматривал «Море богов», «Зодиакальный свет». Писал стихи. Начал переводить «Землю и небо» Байрона, а под самый конец написал «Старую песнь». Обсуждали и новые произведения, только что прослушанные. Коля заводил свое любимое: «Кто выше, Флобер или Толстой?» Ян неожиданно брал книгу одного из этих авторов и читал нам смерть мадам Бовари, «Юлиана Милостивого», «Поликушку» или то место из «Анны Карениной», где у Анны в темноте светились глаза, и она это видит...

В Москву с нами опять поехал Коля. Мы опять остановились у моих родителей. Не помню точно числа, когда я впервые увидела Шмелева, но помню ярко тот вечер, когда я познакомилась с ним у Махаловых.

Хозяин дома, драматург Разумовский, собрал московских писателей на пьесу Шмелева. Была ли это «Среда» или просто литературный вечер? В памяти встают уютная квартира во втором этаже (по-русски) деревянного дома, гостеприимные хозяева, обильный ужин с горячими закусками. Но ярче всех я вижу Ивана Сергеевича Шмелева. Небольшого роста, с нервным асимметричным лицом, с волосами ежиком, с замоскворецкими манерами, он произвел впечатление колючего и самолюбивого человека. Видимо, он волновался и был рад приступить к чтению. Содержание пьесы выпало у меня из памяти, но, вероятно, что-то из военной жизни ⁵⁷, так как один герой был денщик. Ян после чтения сказал:

— Вот у вас денщик говорит: «Так что ваше благородие» — уж очень это истрепано, во всех анекдотах...

Шмелев неприятным тоном:

— А что ж, ему по-французски, что ли, говорить прикажете?

Было не в обычае услышать такой тон среди писателей. Конечно, у Яна пропала охота делать дальнейшие замечания.

В конце января 1908 года праздновался юбилей Южина, — шел «Отелло» ⁵⁸. Мы на этом чествовании не были. А на другой день в Художественном кружке был банкет, данный друзьями и почитателями юбиляра, праздновавшего свою серебряную свадьбу с Малым театром. В переполненном большом зале Кружка Николай Васильевич Давыдов ⁵⁹ от студенческого общества любителей изящной литературы приветствовал Южина и преподнес ему звание Почетного члена этого Кружка. С речами выступали Баженов ⁶⁰, Федотов ⁶¹, Боборыкин, Владимир Иванович Немирович-Данченко. Читались телеграммы от Златовратского, Леонида Андреева, Найденова, Модеста Ильича Чайковского и других, телеграмма Суворина вызвала шиканье. Потом говорили князь Долгорукий ⁶² и присяжный поверенный Ледницкий.

Особенно восторженно были встречены приветствия председателей Государственных дум Муромцева и Головина и членов Первой думы Иваницкого и Кокошкина. Закончилось все веселым рифмованным перечнем пьес Александра Ивановича, сочиненным и прочитанным остроумным актером театра Корша Борисовым.

Я сидела рядом с Телешовым, и Николай Дмитриевич называл незнакомых мне лиц, давал им краткую характеристику, так что мне все время было интересно.

10

Мы уже начали, как говорилось у Буниных, вырабатывать маршрут нашего весеннего путешествия. На этот раз в европейские страны. А в самом начале февраля пришла телеграмма из Грязей: о внезапной болезни сестры Буниных, туда выехали Настасья Карловна и Евгений Алексеевич, который недавно виделся с сестрой и нашел ее в очень хорошем виде:

— Какая ты стала гладкая! — сказал он по приезде недели две назад.

На другой день пришло и письмо, в котором было сказано, что у Маши страшные боли в животе, после скандала с мужем. Доктор ничего не понимал, советовал везти в Москву. И дня через два мы встречали Настасью Карловну с Машей на Казанском вокзале.

Вид Марьи Алексеевны меня поразил: темный цвет лица, точно оно было под сеткой. С вокзала ее повезли в «Лоскутную» и поместили там вместе с Настасьей Карловной. В тот же вечер был у нее профессор Усов. Он нашел, что нужно обратиться к хирургу Алексинскому, который, осмотрев больную, посоветовал перевезти ее в Иверскую общину, где он должен был сделать операцию. Мой дядя, Всеволод Николаевич Штурм, создатель этой общины, помог все быстро устроить.



ДОМ ПУШЕШНИКОВЫХ В СЕЛЕ ГЛОТОВЕ

Фотография

Музей И. С. Тургенева, Орел

Привожу письмо Ивана Алексеевича к Петру Александровичу Нилусу об этих днях (20 февраля 1908):

«Недели две назад я писал тебе, что привезли в Москву мою больную сестру и что у нас началась невыносимая жизнь — страхи, беготня по докторам, бешеные расходы и т. д. Позапрошрое воскресенье знаменитый хирург, предполагавший у сестры гнойник в кишках, сделал ей операцию, во время которой она едва не умерла от хлороформа, — и не нашел никакого гнойника, но сказал нам еще более убийственное слово: саркома, т. е. долгая и мучительная смерть. А у нас, кроме того, есть старуха мать, которая умрет с горя, если умрет сестра, а у сестры двое маленьких детей и т. д. и т. д.

После операции мы созвали консилиум, который утешил нас: сказал, что есть слабая надежда, что не саркома, что надо сестру перевезти в терапевтическую лечебницу и начать лечить рентгеновскими лучами, мышьяком и т. п. И мы немного отдохнули. Но что будет дальше? И как жить, не имея возможности работать, — до стихов ли мне теперь! — и тратя пятьсот целковых в месяц?

А тут еще полиция: в ночь после консультации ни с того ни с сего — обыск. Я чуть не задохнулся от злобы.

...Мучительно хочется на юг, на солнце, отдохнуть хоть немного. Одна надежда на ошибку хирурга: теперь сестре лучше».

Да, это были тяжелые дни. Братья были в панике. Слово «операция» их донельзя пугало. Марья Алексеевна тоже к этому известию отнеслась, как к казни. Кто только ее ни уговаривал согласиться. Мой брат Павлик, студент-медик второго курса, часами просиживал у ее постели и даже проводил ее в операционный зал.

Когда Марья Алексеевна оправилась, ее перевезли в Остроумовскую клинику, где у нас был знакомый ординатор В. Н. Аристархов. С его матерью и сестрой мы подружились в Крыму. И он часто заходил к Марье Алексеевне. Ей в клинике стало лучше, она уже вставала и ходила по палате, в которой была одна. Конечно, как в общине, так и в клинике, мы по очереди ежедневно навещали ее. Она была трудной и требовательной

больной. Нужно было привозить икру и всякие вкусные гостинцы. Ей казалось, что раз есть деньги на жизнь, лучшую, чем ее, то их можно тратить на все, и средства не иссякнут. Конечно, боясь ее огорчать, мы исполняли все ее прихоти. В клинике лечили ее рентгеном и лекарствами.

Привожу выдержку из письма Яна к Нилусу от 9 марта:

«Дорогой, милый Петр, вчера была у меня большая радость — появилась надежда, что положение сестры не так уже опасно: Головинский, который осматривал сестру почти месяц тому назад, заявил, что у нее не саркома... а что именно, покажет будущее».

Когда Ян навещал сестру, то он всегда смешил ее, представляя или пьяного или какие-нибудь сценки из их жизни, старался никогда не говорить о ее состоянии. Он очень томился и решил хоть на короткое время уехать в деревню и там что-нибудь написать, так как болезнь стоила очень дорого. Они с Юлием Алексеевичем видели, что на заграничную поездку нужно махнуть рукой.

Немного успокоившись, Ян уехал в Васильевское, а я осталась в Москве, так как Юлий Алексеевич, человек легко теряющийся, чувствовал бы себя очень одиноко без нас обоих.

Из деревни Ян послал открытку П. А. Нилусу, 15 марта:

«...Я уже с неделю в деревне. Немного пишу. Встречаю весну средней России, от которой я уже много лет уезжал на юг. Грязно, мокро, ветер... Потягивает на юг. Пожалуйста, напиши мне сюда, — между прочим и о твоём плане пожить в апреле на даче. Меня это интересует, ибо кто знает, сколько я здесь пробуду».

И, действительно, недолго он прожил в деревне. Вскоре вернулся в Москву.

Графиня Бобринская, «товарищ Варвара», решила издавать сборники «Северное сияние». Бунин был приглашен редактором этих сборников. Это было очень кстати. Секретарем их был Лев Исаевич Гальберштадт⁶³.

Вскоре Ян получил приглашение выступить на вечере в Киеве. Он с радостью туда поехал. Из Киева отправился в Одессу, хотел немного отдохнуть среди друзей-художников, но внезапно оттуда уехал, получив от меня письмо, — так он объясняет в письме из-под Конотопа П. А. Нилусу свой неожиданный отъезд.

Вероятно, я сообщила, что закрывается клиника и нужно перевезти Машу в какую-нибудь частную лечебницу. По его приезде мы решили Машу поместить в санаторию доктора Майкова, приятеля Юлия Алексеевича. Она находилась довольно близко от нашего дома.

Сергей Федорович Майков, очень любезный человек, посевший от рентгена, был внимателен к сестре Буниных: взял самую низкую плату, и когда Марье Алексеевне не понравилась комната, то ей отвели лучшую за ту же цену. И там продолжали ее лечить рентгеном. После временного улучшения болезнь обострилась, Маше стало хуже. Она с каждым днем худела и слабела. Приглашались знаменитые хирурги, как Постников, знаменитые терапевты, как профессор Головинский, и все безрезультатно, — никто не мог поставить диагноза, теряясь в догадках.

Марья Алексеевна принадлежала к трудным больным и от своего недоверчивого, вспыльчивого характера, и от мнительности, и отсутствия терпения.

Братья опять пали духом. Решили, что после Пасхи нужно ее перевезти в Ефремов. За ней должна приехать Настасья Карловна, энергичная, бодрая, сильная женщина. Мы решили, пожив недолго в Ефремове для матери, ехать в Васильевское. С нами на праздники отправился туда и Юлий Алексеевич.

Ян, как всегда, откладывал отъезд, дотянул до Страстной и внезапно решил ехать в Святую ночь, говоря, что «в эту ночь пассажиров будет

М. А. БУНИНА

Фотография. Елец, 1898

На обороте — дарственная надпись
М. А. Буниной И. А. Ласкаржев-
скому и поздняя помета Бунина:

«Моя покойная сестра Маша»

Парижский архив Бунина



мало», — взять билеты первого класса мы не могли, и он боялся бессонной ночи в вагоне.

Конечно, моей семье было грустно, что я опять не буду с ними у завтрашней, не буду с ними разговляться. Я пробовала уговорить Яна, чтобы он поехал с братом, а я приеду к нему через два дня. Но он, живший в большой тревоге, ни за что не хотел расставаться со мной. Понятно, нас многие осуждали. А член судебной палаты Мальцев, снимавший в нашем доме квартиру, сказал мне:

— Ну, знаете, — это по-декадентски!

Я ответила, что мать Ивана Алексеевича, находившаяся в сильном горе, будет хоть немного утешена, если мы проведем с ней праздники.

11

Ян оказался прав: вагон второго класса был почти пуст, и мы имели отдельное купе, дав на чай кондуктору. Утром мы приехали в Ефремов.

Мы с Яном остановились в номерах Маргулина, прожили дней десять. Бунины сдали комнату дантистке, и Евгений Алексеевич завел с ней роман. Настасья Карловна очень волновалась. Братья взяли ее сторону и уговорили его «бросить эту историю», сообщив о состоянии Маши, но просили до привоза ее в Ефремов ничего не рассказывать матери. Евгений Алексеевич очень любил свою младшую сестру, относился к ней с нежностью, так как был ее крестным отцом, — она была лет на пятнадцать моложе его, и они почти всю жизнь до замужества Маши прожили вместе. Красивая зубная врачиха съехала от них, так как ее комната нужна была для больной сестры. Настасья Карловна после нашего отъезда отправилась в Москву вместе с Юлием Алексеевичем за Машей.

Матери было трудно: на ее руках оказалось двое детей. Пока мы жили в Ефремове, я почти все время проводила с ней и детьми. Сыновья, точно боясь оставаться с нею с глаза на глаз, почти всегда бывали в отсутствии, и мне было донельзя жаль ее. С детьми же я любила возиться.

Когда мы приехали в Васильевское, нас встретила изумительная весна, — все было в цвету. Я тогда была огорчена, что наша поездка за границу не состоялась, а теперь я рада, что судьба подарила мне такую прелестную весну: снежная белизна фруктового сада, соловьи. Это напомнило мне мои детские и отроческие впечатления. Я дважды пережила такую чудесную весну в бабушкином имении Тульской губернии, Крапивенского уезда: первый раз, когда мне было семь лет, а второй в одиннадцать лет. Фруктовый сад у бабушки занимал двадцать девять десятин да вишневик — десять, так что впечатление было незабываемое. Здесь сад был меньше, но все же он буйно цвел. И мы наслаждались, по вечерам слушая соловьев, особенно в лунные ночи; по утрам и днем работали под кленом, тоже под трели соловьев. Я писал стихи. Написал «Бог полдня» и прочел их нам, сидя под белоснежной яблоней в солнечный день. Редактировал переводы Азбелева, рассказы Киплинга для издательства «Земля». Писал «Иудею».

Я начала по его совету переводить с английского «Энох Арден»⁶⁴.

Машу перевезли в Ефремов. Мы навестили ее. Она была до жути худая. Лежала в комнате, где жила дантистка. Решили пригласить к ней земского врача Виганда, который лечил ее и Людмилу Александровну. Жара несусветная. В доме было душно. Жизнь бестолковая. Кроме Настасьи Карловны, никто ничего не делал. Дети распустились.

После нашего отъезда был приглашен Виганд, который сделал то, чего не могли сделать столичные знаменитости, — Маша стала поправляться. На Кирики приехали братья Бунины и сообщили эту утешительную новость. Юлий Алексеевич прожил с нами дней пять и поехал через Ефремов домой. При нем опять приезжали мои родственники из Предтечева. Раза два и я одна съездила к ним. Мне всегда бывало приятно проводить время с Нюсей, остроумной и изящной моей кузиной.

Урожай яблок был редкий, целыми днями к шалашу в фруктовом саду шли вереницей бабы, девки, ребята, покупая или обменивая фрукты на яйца, хлеб, молоко. Издали в поле был слышен аромат плодового сада. Я послала ящик яблок своим.

За лето мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои «Божьего древа», удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмована.

Это лето было для меня полно незабываемых, впервые пережитых впечатлений.

12

В Москву мы приехали в конце августа. Опять остановились в Столовом переулке.

28 августа поехали к Телешовым на дачу, в Малаховку, половина которой принадлежала им. Они занимали у самого озера двухэтажный дом в шведском стиле с большими террасами и балконами, сад-цветник доходил до озера. Мы провели там целый день. Погода была прелестная — преддверие бабьего лета.

Поехали в Петербург. Остановились опять в «Северной гостинице». Я распродал кое-что из летнего запаса. Приобрел материал для второго сборника «Земля» и для «Северного сияния».

Были на обеде у Котляревских вместе с Ростовцевыми и еще с кем-то. Нестор Александрович Котляревский, спокойный и очень располагающий к себе человек, слушая, как Иван Алексеевич изображает кого-нибудь из деревенских обитателей или общих знакомых, все повторял:

— У вас необыкновенный юмористический талант. Вам необходимо написать комедию вроде «Сна в летнюю ночь», почему вы не попробуете?

Жаловался на одного писателя, что он ему предлагал только что две пьесы, и задумчиво произнес:

— Иному отцу, если родится двойня, и то неловко.

Смеясь, жаловался, что жена кокетничает со всеми: с дворником, со стулом, с кем угодно!

Вернувшись в Москву, Ян стал говорить, что надо уехать в деревню. Мне не хотелось: 14 декабря было совершеннолетие Павлика, и мне приятно было бы провести этот день с ним. Но Ян был неумолим, и я утешалась тем, что ехали мы вдвоем — Коля еще брал уроки пения, — я уже тяготилась родственниками Яна, с которыми он проводил почти все досуги, ему же хотелось, чтобы я слилась с ними.

В деревне жили Софья Николаевна с братом. Мне была приятна такая жизнь.

Ян перед писанием читал стихи Случевского. Пересматривал еще не напечатанное. Сказал, что хочет составить книгу нашего первого странствия. 6 декабря Софья Николаевна дала нам бегунки, и мы поехали в Колонтаевку. День был прелестный, все в иное, и мы опять наслаждались, катаясь по этой заброшенной усадьбе.

Через несколько дней после этого пришло письмо от Нилуса, который сообщал, что едет в Москву. Ян сказал, что он забыл переговорить с Блюменбергом об очень важном деле, что ему нужно поехать на несколько дней в Москву... конечно, он не отрицал, что ему будет приятно побыть и с «Петрушей», но ехать обоим трудно, громоздко, и денег у нас было в обрез. Мне стало обидно: он как раз попадет на рождение Павлика.

13

На Святках, только что Ян принялся писать «Беден бес», как получил от Нилуса известие, что Куровский серьезно заболел: грудная жаба. Мы сильно встревожились. А вскоре и Ян свалился: «дьявольский» насморк, жар, гастрит. Приезжал даже фельдшер из Предтечева. К счастью, через неделю стал поправляться. 2 января послал письмо Нилусу; делаю из него выдержки:

«Очень встревожен известием о Павлыче. Думаю, что сейчас дело еще не столь опасно, как показалось вам в первую минуту, но грудной жабе верю. Можно и с ней долго жить, но покой нужен, а Павлычу давно, давно пора отдохнуть. Уговорите его взять большой отпуск, придумайте хорошее место отдыха. Пишу и ему».

Далее Ян пишет, что Грузинский хвалит Нилуса за его рассказ. Сообщает адрес «Бюро газетных вырезок», сообщает условия и шутит, что он должен, как автор «На берегу моря», подписаться на самое большое количество вырезок. Просит передать Федорову просьбу дать как можно скорее для «Северного сияния» рассказ в поллиста или в три четверти. Просит и у Нилуса «шедевра» для «Северного сияния».

Поправившись, Ян принялся за писание и до нашего отъезда кончил «Беден бес», «Иудею» и отрывки перевода из «Золотой легенды».

12 января он посылает Нилусу следующую открытку:

«Забыл ~~главное~~, главное: в условии с „Шиповником“ надо непременно обозначить срок, на какой продаешь книгу. Надо написать: „1 марта 1911

я, Нилус, имею право снова выпустить эту мою книгу „Рассказов“ в каком мне угодно издательстве, будет ли распродано издание „Шиповника“ или нет — все равно“. Ив. Бун.». Сбоку: «Вера кланяется».

14

В Москве то и дело Ян простуживался, хотя и легко. Он стремился скорее уехать за границу, в Италию. Я тогда не знала, что ему в молодости грозил туберкулез.

Перед самым нашим отъездом Андреев привез в Москву новую пьесу «Анатэма». У Телешовых в то время не было большого помещения, и «Среда» была устроена у Зайцевых. Они жили на Сивцевом Вражке, снимали вместе с Таней Полиевктовой в особняке нижний этаж, где были две больших комнаты — столовая и кабинет.

Как всегда, на чтении Андреева было много людей, непричастных к литературе. Долго сидели в ожидании автора. Наконец он приехал, но читать пришлось Голоушеву. Послушав недолго, Леонид Николаевич поднялся и вышел в столовую, за ним последовало несколько приглашенных, мы в том числе.

Он сел в углу, у печки, его окружила молодежь. Андреев, держа бокал вина, уже еле говорил. Один юноша, смуглый, со смоляными волосами, наставительно и проникновенно повторял:

— Нет, Леонид Николаевич, вы не имеете права говорить так. Мы все чутко прислушиваемся к вашему голосу, а вы между тем... Жизнь нельзя, стыдно отрицать!

Андреев, тяжелым взглядом уставившись в одну точку, однословно возражал:

— Нет, не так, это совсем не то... глупо...

Когда кончилось чтение «Анатэмы», слушавшие вышли из кабинета во главе с Голоушевым. Некоторые гости начали рассыпаться перед автором, выражать восторги, но ему стало скучно их слушать, и он быстро сел за стол, а за ним и остальные. Моим соседом оказался В. В. Вересаев. Он, конечно, слушал пьесу и укорял меня, что я ушла за автором. Когда-то в ранней юности я любила рассказы и романы Вересаева, он писал о молодежи и поднимал «проклятые вопросы». Я сказала ему об этом. К моему удивлению, он сконфузился.

Я была простужена, кашляла, кроме того мы были на отлете. Уже взяли билеты в Одессу; а потому мы раньше других уехали домой.

На извозчике Ян сказал: «Как жаль, что Леонид пишет такие пьесы, — все это от лукавого, а талант у него настоящий, но ему хочется „ученость свою показать“, и как он не понимает, при своем уме, что этого делать нельзя? Я думаю, это оттого, что в нем нет настоящей культуры».

15

В вагоне ларингит мой усилился. В Киеве была пересадка, но мы в город не поехали. Поезд от Киева до Одессы был гораздо лучше, чем до Киева. Остановились в «Петербургской гостинице». Ян известил Нилуса и через полчаса он с Федоровым и Куровским, который уже оправился от припадка, явились к нам. Они быстро ушли завтракать. На прощанье Ян посоветовал мне спросить завтрак в номер, заказать кефаль по-гречески.

Друзья пропали на весь день. Мне, конечно, было и скучно, и неприятно от ожидания. Выйти я не могла, боясь разболеться перед отъездом за границу. В Одессе мы должны были пробыть с неделю. У меня были там родственники, семья покойного папиного дяди, Аркадия Алексеевича Муромцева.

А. М. ФЕДОРОВ
С СЫНОМ ВИКТОРОМ

Фотография, 1907—1908 годы

С дарственной надписью «Я и мой
мальчик. Дорогому моему другу
Ив. Алекс. Бунину. Любящий А. Федо-
ров. 13 янв. 08 Москва»
Музей И. С. Тургенева, Орел



Вернулся Ян только в полночь в сопровождении Куровского. Ян был неприятен и задирчив, — я увидела, что лучше его не упрекать. Посидевши недолго, они опять исчезли, вероятно, пошли в пивную Брунса.

К счастью, ларингит быстро у меня прошел, и я стала выходить, знакомиться с городом. Зашла к родственникам. Они радушно меня приняли и старались развлекать. Со своим «дядей», которого я называла просто Володей, мы много ходили по улицам. Он был забавный, большой эрудит. Изучал химию, но от нервности не мог держать экзаменов и так и не окончил университета, и пока еще нигде не служил. Он хорошо говорил, с ним никогда не бывало скучно, у него тоже был дар, как у Яна, изображать людей.

Некоторые друзья Яна приглашали нас к себе. Были мы запросто у Федоровых, и Лидия Карловна говорила со мной о художниках, о том, что они всегда хотят быть без жен, и что многие жены от этого очень страдают, а некоторые стали жить своей жизнью. Например, жена Заузе все свои досуги отдает карточной игре, у нее постоянная компания, другие заводят романы, иногда бросают мужей, как, например, жена Дворникова.

— Я вся ушла в воспитание сына, Витя этого стоит, он очень талантливый мальчик. Тут ничего не поделаешь, — со вздохом сказала она.

Мне стало грустно, — у нас в Москве этого разделения не было. Мы везде бывали вместе, вместе и веселились, и вели серьезные, интересные беседы, и я была рада, что все же в Москве мы будем жить дольше, чем в Одессе. Пригласили нас чуть ли не на следующий день Куровские. Вера Павловна приготовила любимые блюда Яна. Из художников она жаловалась только Петра Александровича Нилуса, других она почти ненавидела за то, что они отнимали ее мужа от семьи.

— Не было ни одного праздника, — жаловалась она, — ни одного воскресенья или четверга, будь это на Страстной неделе, чтобы Буковецкий не приглашал его к себе. И это продолжалось, пока Буковецкий не же-

нился. А после свадьбы перестал у себя устраивать «четверги», и их перенесли к Доди. И вот добились, что у Павлыча был такой припадок. Мы так за него боялись, и дети и я, да и художники испугались. Впрочем, как дети подросли, он стал бывать у Буковецкого реже, через воскресенье. Теперь у него обеды по воскресеньям.

На обеде у Куровских были Федоровы, Нилус, Заузе и Дворников. После обеда все развеселились: Заузе сел за пианино, началось пение. Нилус с Куровским исполнили дуэт «Не искушай меня без нужды», — все трое были на редкость музыкальны; Лидия Карловна Федорова пустилась в пляс вместе с Яном. Потом маленький Шурик Куровский изобразил какого-то старичка, чем вызвал одобрение.

Была я и на «четверге» в ресторане Доди. Художники делали исключение для приезжих дам. Я была почти счастлива, что попаду на этот «мальчишник», где Ян будет проявлять свои таланты, а в то время мне хотелось понять его до конца, видеть его в той обстановке, где он особенно легко и свободно чувствовал себя.

У меня была шляпа, черная, из мягкого фетра со страусовым пером и с завязками под подбородком, она шла ко мне, как говорили в Москве. И я не надела ее к художникам... от застенчивости, конечно.

Во втором этаже стоял во всю длину отдельного кабинета стол, на нем лежали альбомы, карандаши, уголь. Художники, которых было много, стали рисовать друг друга. Кто-то сделал рисунок и с меня. Все были оживлены, веселы, шутили друг над другом. Из писателей был, конечно, сильно опоздавший Федоров и Ян, из журналистов Дерибас, потомок создателя Одессы, и Филиппов. В этот вечер я познакомилась с милым Эгизом⁶⁵, маленьким, ко всему и всем благостным караимом. Буковецкого не было. Он, кажется, не посещал этих сборищ. Был еще небольшого роста с поднятым плечом художник Скроцкий, едкий человек, которого я отметила.

Когда кабинет был почти полон, стали заказывать ужин, каждый для себя, платили тоже каждый за себя. Некоторые требовали водки, но большинство пило вино, белое или красное, удельное, бессарабское, немногие ограничивались пивом. После того, как утолили голод и хорошо выпили, Заузе сел за пианино, стоявшее у двери, и опять, как у Куровских, началось пение: дуэты Нилуса с Павлычем, который почти ничего не пил и перестал курить. Заузе сказал, что написал романс на стихи Бунина: «Отошли закаты на далекий север», и исполнил его. Ян подбежал к нему, поцеловал в лоб и еще больше оживился. Заузе заиграл плясовую, и я в первый раз увидела, как Ян пляшет один, легко, что-то импровизируя, помогая себе щедрой мимикой. Дня через два Ян неожиданно сказал, что мы должны уехать 28 февраля.

— Но ведь это день рождения Оли Куровской, ей минет 16 лет, они будут торжественно праздновать этот день и огорчатся, если мы уедем.

— Нет, достаточно всяких праздников, я устал, не могу больше, надо ехать, — твердо возразил Ян.

В день нашего отъезда мы были у Куровских, Ян подарил Оле коробку конфет с шутливой надписью. Вся семья была огорчена нашим отъездом. Мы оставили у них все теплое, вообразив, что за границей, особенно в Италии, весна чуть ли не жаркая. Кроме того, Ян боялся лишнего чемодана. Он никогда не хотел сдавать ничего в багаж, не хотел и отправлять вещей вперед, может быть, и потому, что несмотря на долгие разговоры куда мы едем, точного плана у него не было. И я не знала, какие города и даже страны мы посетим. Намечалась Италия, но в общих чертах.

Поезд уходил, кажется, часов в семь. Нас провожали художники и Федоров, на этот раз не опоздавший.

Ян был доволен, спокоен, он, действительно, устал и от Москвы, и от Одессы. Нам обоим хотелось чего-то нового. Я ехала на Запад в первый раз и была полна интереса к тому, о чем давно мечтала.

ИТАЛИЯ

1

В вагоне, в спальном отдельном купе, Ян пришел в то настроение, которое мне было особенно по душе: он стал веселым, заботливым, говорил о том, о чем в обычной жизни не высказывался.

— Я чувствую себя на редкость хорошо в мотающемся вагоне в темные ночи; заметь, как хороши огни станций в щелку и какое это поэтическое чувство — знать, что ты далеко, далеко ото всех.

Через Волочиск мы приехали в Вену, где шел дождь, и было холодно в наших легких одеждах, и мы пробыли там всего дня два. Заглянули в собор святого Стефана, который так крепко вошел в мое сердце, что ни один собор не мог его вытеснить, а я много их осматривала. Послушали мы в нем и великолепный орган. Впечатление незабываемое.

Побежали по городу, были в Пратере, но главное занятие было — искать по ресторанам гуляш, которого мы так и не нашли, что Яна очень сердило. Из Вены мы направились в Инсбрук, где уже было совсем холодно, пришлось под костюм надеть очень теплую вязанку, которую мама заставила меня взять. Но живительный воздух совершенно опьянял нас, и холод был приятен. Мы часто вспоминали этот уютный тирольский городок, залитый солнцем, окруженный горами, где так весело раздавались звонкие шаги.

В Италию мы спустились по Бреннен-Пассу, в солнечно-ослепительный день. Ян мечтал пожить в какой-нибудь тирольской деревушке с каменными хижинами, куда по вечерам возвращаются овечьи стада с подвешенными колокольцами. И воскликнул: «Как было бы это хорошо!»

Когда мы переехали границу и очутились в Италии, то сразу почувствовали иной мир: вместо высоких сильных жандармов появились в касках с перьями маленькие военные, и уже на вокзальной тележке были фисташки и апельсины. И то и другое Ян мгновенно купил. И тут же начал говорить, что ему так надоели любители Италии, которые стали бредить треченто, кватроченто, что «я вот-вот возненавижу Фра-Анжелико, Джотто и даже самое Беатриче вместе с Данте...»

— А ты чувствуешь, какой здесь легкий воздух? — перебил он себя.

Вечером мы добрались до Вероны, где оперные итальянцы в своих плащах, красиво закинутых за плечо, дали почувствовать иную эпоху. Вернувшись в отель, мы спросили минеральной воды, но нам не дали, сославшись, что поздно, а Ян не позволил выпить сырой воды, и мы легли спать в сильной жажде. К счастью, от усталости скоро заснули, и я видела сон, что пью масло из масляной банки в лаборатории, под вытяжным шкапом, где что-то в реторте нагревается. Это было так отвратительно, что я запомнила на всю жизнь.

Из Вероны, осмотрев древний амфитеатр, мы поехали в Венецию. Прибыли уже вечером, за дорогу очень устали, но в траурной гондоле с красавцем гондольером почувствовали такое спокойствие, плывя в город-призрак и слушая пение, раздававшееся со всех сторон, что усталость как рукой сняло, — захотелось пожить здесь. К сожалению, скверная погода не позволила нам долго остаться. Осмотрев бегло Венецию, мы взяли билеты в международном вагоне и отправились в Рим, решив там остановиться. Но и там встретило нас серое низкое небо с дождем и ветром. У нашего вагона стоял русский лакей в ливрее, помогавший старой княгине сходить со ступенек вагона. И мы взяли билеты дальше, на юг, спа-

саясь от непогоды и от старой княгини с ее ливрейным лакеем. В Неаполе, где было теплее, мостовые блестели от только что пролившегося дождя.

Остановились мы на набережной, в гостинице «Виктория». И пробыли в ней трое суток. Неаполь, несмотря на изумительный вид из наших окон, разочаровал меня: я представляла его меньше, утопающим в зелени, а оказалось, — большой шумный город, в котором я от усталости растерялась. Но вот наутро мы поднялись на Вомеро, откуда открывается один из широчайших видов мира (Ян всегда в новом городе прежде всего искал самое высокое место). А на второе утро мы отправились в сторону Позилиппо, шли долго апельсиновыми и лимонными садами, в душе звучало: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?»⁶⁶ А потом рыбный завтрак с холодным вином «позилиппо» в огромном длинном ресторане, еще пустом, — сезон едва начался, — и Неаполь победил меня.

О Капри ничего не было говорено, мы только смотрели на него с нашего балкона, и я, восхищаясь его тонкими очертаниями, спросила: поедем ли мы туда? Ян ответил неопределенно. О Горьком мы тоже не говорили, слишком в те дни было много нового, необычайного. Часто в жизни играет роль пустой случай. На третий день нашего пребывания в этом городе песен и мандолин мы уже освоились с пристававшими мальчишками, смело отбиваясь от них словами «виа, виа»; примирились с тем, что кофий был отвратительный, как, впрочем, и во всей Италии; слушали в салоне после длинного обеда пение и игру неаполитанцев, старший обходил всех с шапкой, и один раз англичанин положил такую маленькую монету, что старичок, талантливый исполнитель песен, возвратил ему этот грош; Ян уже не удивлялся, когда перед сном выходил один на улицу, что к нему подбегали со всех сторон подозрительные личности и, суя открытки, предлагали: «табло виван».

В тот день утром мы съездили в Сорренто и чуть не сняли комнаты. Вернувшись, пошли завтракать в «Шато д'Ово» (Яичный замок), ели фрукты ди маре, лангусту, запивая все холодным белым вином.

За завтраком я спросила о Горьком, увидимся ли мы с ним, Ян опять ответил неопределенно. Он, посмеиваясь, рассказал, что в последний раз виделся с ним и Марьей Федоровной во время «вооруженного восстания», когда они жили на Воздвиженке, квартира была забаррикадирована, в передней сидели в черных папах, вооруженные кинжалами, револьверами и дустволками кавказцы, охранявшие его, хотя никто не нападал. А я рассказала, что как раз перед «вооруженным восстанием» в нашем доме на квартиру Шарапова было произведено нападение. Шарапов, человек правого политического направления, писавший по аграрному вопросу, снимал у нас большую квартиру в нижнем этаже по Скатертному переулку. Однажды поздно вечером было сделано несколько выстрелов в окна, посыпались стекла, нападавшие убежали, а к нам перенесли на ночь маленьких детей Шараповых; через несколько дней они съехали с квартиры.

После обильного итальянского завтрака мы вернулись в отель, легли отдохнуть и проспали почти до обеда.

Войдя в столовую, мы увидели, что за столиком, где мы эти дни обедали, сидели англичане. Ян рассердился и заявил, что обедать не будет и завтра же покидает отель. Метрдотель очень извинялся, предлагал другой стол, начал называть его «принчипэ», но Ян остался неумолим.

Мы отправились к Воронцам⁶⁷, друзьям Буниных по харьковской жизни, которые поселились на Вомеро. И мы опять подлюбовались широким видом, но уже при вечернем освещении.

Воронцы были эмигранты после 1905 года, осели в Неаполе из-за климата, вели тихую скромную жизнь. Они обрадовались Яну, ласково приняли и меня. Весь вечер прошел в оживленных воспоминаниях о прошлой,

почти нищенской жизни, когда приходилось, по словам хозяйки, делить «каждую фасоль пополам», но все же тогда было необыкновенно весело, безмятежно. С Горьким они не были знакомы, но говорили, что его дом поставлен на широкую ногу.

2

На следующее утро, в 9 часов мы отправились на Капри. Пароходик был крохотный. Погода тихая, и мы шли, как по озеру, наслаждаясь всем, что дает Неаполитанский залив людям, попавшим туда в первый раз. И, действительно, не знали куда глядеть: на Везувий ли, грозно царивший над беззаботными неаполитанцами, на поднимающийся ли амфитеатром город с его апельсиновыми и лимонными садами на окраине, на высокие манящие Абруцкие горы, или на выступающий из воды остров Искья, с его очаровательными очертаниями, где некогда жил, страдал от любви опростившийся Ламартин; но вот и Капри, где живет изгнанник, наш русский писатель, который с гимназических лет занимал мое воображение своими романтическими босяками.

Остановки, крики, итальянские лица со сверкающими глазами и зубами. Вот и Сорренто, показавшееся нам тесным: отвесный берег с вилами, отелями, садами. А минут через двадцать и Капри. Пароходик остановился, и нам пришлось до берега плыть в лодке. Увидев неприступность острова, мы поняли, почему Тиверий избрал его для своих уединенных дней.

Капри и для нас оказался островом, и островом сказочным, — он не соединен ни с прошлыми, ни тем более с последующими событиями нашей жизни. Очутились мы на нем в одну из самых счастливых весен, во всяком случае моих. Ян, как я уже писала, не любил предварительных планов; он намечал страну, останавливался там, где его что-либо привлекало, пропуская иной раз то, что все осматривают, и обращая внимание на то, что большинство не видит.

Высадившись, мы пошли в ближайший отель, расположенный на берегу, оставили там наши чемоданы, позавтракали, поразившись дешевизной и свежестью рыбы и, отдохнувши с час в отведенной нам комнате, отправились пешком в город. Дороги вились среди апельсиновых садов, открывая при каждом повороте все более и более широкий вид.

— Знаешь, зайдем к Горьким, — неожиданно предложил Ян, — они посоветуют, где нам устроиться, и мы можем некоторое время отдохнуть, мне здесь нравится.

Я с радостью согласилась.

Когда очутились на площади, необыкновенно уютной, и, постояв на ней и вдоволь налюбовавшись видом на Неаполь, мы спросили кого-то, как пройти к Горькому, этот кто-то нам с готовностью указал дорогу. Мы нырнули в узенькую улочку и пошли по ней.

— Кажется, это Катя, дочь Марьи Федоровны! — воскликнул Ян, увидя идущих навстречу нам двух молоденьких барышень, одну полную, высокую, а другую миниатюрную.

Так и оказалось: высокая барышня была пятнадцатилетняя Катя Желябужская, она была похожа на отца, которого я знала, и я сразу уловила ее сходство с ним, оно было в полных губах и нижней части лица. Спутница Кати оказалась женой эмигранта, она была приставлена к ней, но у них были дружеские отношения, и Катя коноводила своей компаньонкой.

От них мы узнали, что Горькие через полчаса отправляются в Неаполь.

— Но вы все же их застанете, — сказали они и еще раз объяснили, как найти виллу Спинала.

Виллой, где жили Горькие, замыкалась улочка. Ян позвонил. Высокую дверь нам открыл красавец и что-то стал говорить по-итальянски. Неслушая, мы прошли мимо него и стали подыматься по узкой лестнице, Ян опередил меня. Вдруг я услышала грудной знакомый голос:

— Иван Алексеевич, какими судьбами?

На стеклянной веранде, выходящей в римский сад, в сером костюме и маленькой синей шляпке стояла мало изменившаяся Марья Федоровна, как всегда элегантная. Мы с ней познакомились. В этот момент из боковой двери вышел в черной широкополой шляпе Горький. Он радостно поздоровался с Яном и приветливо познакомился со мной.

Нас сразу они забросали вопросами, на которые мы не успевали отвечать. Ужаснулись, что наши вещи остались на Гранда Марина. Марья Федоровна посоветовала отель «Пагано». Затем нас стали уговаривать пожить на Капри подольше.

— Катя все устроит. Хозяева «Пагано» — наши друзья. Мы всего на три дня в Неаполь. Вернемся и тогда уговорим вас остаться здесь.

Мы быстро пошли по узенькой улочке, где встречные радостно здоровались с Горьким, а Марья Федоровна каждому что-то говорила по-итальянски.

— А какие тут звездные ночи, черт возьми! Право, хорошо, что вы приехали, поедем рыбу ловить! — говорил Алексей Максимович, тряся руку Яна, а потом мою около фюникюлера.

Я была рада, что так случилось, что мы одни несколько дней поживем на Капри, оглядимся, и я привыкну к мысли, что буду проводить время с Горьким и артисткой Андреевой, которая, несмотря на свою любезность, вызывала во мне стеснение.

Катя оказалась милым и общительным подростком. Быстро нас устроила в отеле, где все стены были расписаны неизвестными художниками, которые иной раз оплачивали этим свое пребывание там: Много, с большой любовью, Катя говорила об «Алеше», как звала она Горького. Еще больше она рассказывала о «Зине»⁶⁸, своем «названном брате», которым она восхищалась, и сообщила, что он живет в качестве секретаря у Амфитеатрова в северной Италии и часто наезжает к ним: Понемногу она ввела нас в быт горьковской семьи. Все три дня, пока Горькие были в отсутствии, она со своей милой компаньонкой заходила к нам. Сообщила, что патрон острова — святой Констанце, что от Гранда Марина до Анакапри 777 ступенек, высеченных Тиверием, — дорог в те времена не было. Рассказывала, что на полугоре жили хищники, пожиравшие христиан, что до сих пор существуют старухи в Анакапри, которые никогда не спускались в Капри, и что здесь население говорит на разных диалектах. Обитатели Капри очень честны. Когда владельцам магазинов нужно куда-нибудь пойти, они никогда не запирают дверей, и никто ничего не крадет, а если что-либо нужно человеку купить, то он просто возьмет это в магазине, оставив там деньги.

Все три дня я была в опьянении, и с этих дней началось то сказочное, что мне довелось пережить той весной.

Вернулись Горькие, но не одни, с ними прибыли Луначарские. Кроме того, у них гостила дочь профессора Боткина, которую они звали «Малей»⁶⁹, и жил больной туберкулезом товарищ Михаил, черномазый рабочий, с некрасивым лицом и веселыми глазами⁷⁰.

Как раз подошли домашние праздники: 16 марта старого стиля день рождения Алексея Максимовича, а 17 марта его именины. И мы попраздновали. Впрочем, все наше пребывание, особенно первые недели, было сплошным праздником. Хотя мы платили в «Пагано» за полный пансион, но редко там питались. Почти каждое утро получали записочку, что нас



КАПРИ

Акварель С. Корроди. Вторая половина XIX в.
Музей А. М. Горького, Москва

просят к завтраку, а затем придумывалась все новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали, так как нужно было закончить спор, дослушать рассказ или обсудить «животрепещущий вопрос».

Много говорили мы и о Мессинском землетрясении. Марья Сергеевна Боткина, сестра милосердия, побывала на месте бедствия. Восхищались самоотверженностью русских моряков.

На вилле Спинола в ту весну царила на редкость приятная атмосфера бодрости и легкости, какой потом не было.

Сама вилла была прелестная: одна стена в кабинете была скалой. Дом старинный, с высокими просторными комнатами, их было семь или восемь, со старинной мебелью. Широкое низкое окно кабинета, за которым стояли цветы: «И качались, качались цветы за стеклом...» С балкона открывался вид на Неаполь. Думать, работать в таком кабинете было приятно. В этот приезд мы редко в нем сидели(...)

Больше времени мы проводили в салоне с гербами под самым потолком или в огромной столовой, где асти в те дни лилось рекой — то под пение с аккомпанементом мандолин и гитары местных любителей; то под изумительную тарантеллу знаменитой на весь мир красавицы Кармеллы, которая особенно талантливо танцевала для Массимо Горки со своим партнером, местным учителем в очках, то под бесконечные беседы, споры. Впрочем, при Луначарском, тогда очень худом, все превращалось в его монолог, он умел заставлять молчать Горького. Обычно он ходил по диагонали, говорил то на политические темы, то на литературные. Он хорошо знал итальянских поэтов, владел в совершенстве итальянским языком. Вставить словечко можно было только тогда, когда он неожиданно опускался на ручку кресла, в котором сидела его жена, и начинал ее обнимать и долго целовать. Нацеловавшись, поднимался и опять — хождение по диагонали и монолог.

Уже 16 марта, в день рождения Алексея Максимовича, я почувствовала, что на вилле Спинола все играют, словом, «театр для себя»: на всех лицах можно было прочесть, что слушающие переживают. Были также и новые для нас эмигранты-каприйцы, пришедшие поздравить новорожденного.

Алексей Максимович просил Яна почитать стихи. Ян долго отказывался, он не любил читать среди малознакомых людей, но Алексей Максимович настаивал:

— Прочтите «Ту звезду, что качалась в темной воде...», я так люблю эти стихи.

Ян обычно переставал читать то, что вошло в книгу, он даже мне не позволял перечитывать в его присутствии своих произведений. Но Горький так просил, что Ян прочел это восьмистишие, написанное в 1891 году.

Ту звезду, что качалась в темной воде
Под кривую ракушкой в заглухшем саду,—
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,—
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слогал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

Алексей Максимович плакал, а за ним и другие утирали глаза. Но больше, как ни просили, Ян не стал читать.

Именины 17 марта мы провели вместе с обитателями виллы Спинола. Горький редко выходил один, а всегда с чадами и домочадцами.

После завтрака, который был особенно вкусен, — красавец Кательдо постарался, — мы отправились в Анакапри, лежащее выше Капри. Поднимались по прекрасной дороге в экипажах: в одном писатели, а в другом женщины — Марья Федоровна, Луначарская, Боткина и я. В третьем — все остальные. Анна Александровна Луначарская сразу заговорила о любви и расспрашивала, как кто познакомился со своим избранником. Она была пышной блондинкой, красотой не блистала, но была проста и мила, казалось, вся жила своим Анатолием Васильевичем. К сожалению, я забыла, что она рассказывала об их романе, помню лишь впечатление о любви с большой буквы.

Осмотрев бегло Анакапри, мы вошли в пивную, которую держал австриец. К стенам были прибиты рога. Кроме нас, было несколько немцев и тирольцев в своих шляпах с перьями, они очень много пили, лица их стали донельзя красными, глаза оловянными.

Ян сказал:

— Бойтесь пьяного немца, это самые страшные люди в опьянении...

Наша компания отдала честь австрийскому белому вину в высоких узких бутылках, как и необыкновенно вкусной колбасе, выписанной из Австрии. После пивной еще погуляли, Горький указал на находящуюся на берегу, на самой южной точке виллу, принадлежавшую шведке, в которой жил доктор Аксель Мунте, описавший впоследствии Капри. Затем вернулись домой. Мы забежали в отель «Пагано», немного отдохнули, вечером опять пошли к Горьким.

Этот праздник был еще более пышен и многолюден, чем три дня тому назад. Пели, плясали тарантеллу еще талантливее, чем в прошлый раз. Асти, действительно, лилось рекой. Поражало, что все слуги были красивы и держали себя просто. Красавец подросток Лоренцо сидел под столом в непринужденной позе, — он был мальчиком на побегушках; красавица горничная Кармелла с двумя маленькими девочками, необыкновенно прелестными, с которыми возился с любовью и лаской Алексей Максимович, тоже чувствовала себя не как прислуга. И я часто думала: «Вот как будет, когда настанет на земле социализм!..»

Речь частенько заходила о школе пропагандистов на Капри, которую организовали Горький, Луначарский и другие. Строили планы, намечались лекторы.

На возвратном пути домой мы почти всегда соблазнялись лангустой, выставленной в окне, и заходили в маленький кабачок. А затем шли по пустынному острову в новые места, и гулко раздавались наши шаги по спящему Капри, когда подымались куда-то вверх. Эти ночные прогулки были самым интересным временем на Капри. Ян становился блестящ. Критиковал то, что слышал от Луначарского, Горького, представлял их в лицах. Сомневался в затеавшейся школе: «пустая затея!» Он видел, что мне нравится Горький, и несколько раз кратко заметил: «Не бросайся на груды!»

Неожиданно заявил, что мы должны покинуть Капри для Сицилии; надо оставить чемоданы у Горьких, а самим поехать налегке.

На другой день мы покинули Капри. На прощанье Горький говорил: — Возвращайтесь из Сицилии, скоро Пасха, какие будут процессии на Страстной, не пожалеете, что попали сюда.

Прибыв в Неаполь, мы быстро погрузились на пароход в Палермо. Качало. Я рано легла спать, а Ян ходил, обедал, часто заглядывал ко мне. Наутро Палермо. Погода и там была плохая, и портье, дородный

высокий мужчина, спокойно говорил, что «старожилы не запомнят такой весны», объясняя это последствием землетрясения. Несколько дней мы осматривали столицу Сицилии, смотрящую на север, в бухте которой никогда не отражаются ни солнце, ни месяц.

Мы восхищались замечательными византийскими мозаиками, испытывали жуткое чувство при виде мумий, лишь едва истлевших в подземелье какого-то монастыря. Особенно жуткое впечатление произвела невеста в белом подвенечном платье.

Из Палермо мы отправились в Сиракузы, где впервые поселились на шестом этаже отеля с бесконечным видом на восточное море. Там мы в первый раз увидели папирус. Оттуда поехали в Мессину, где испытали настоящий ужас от того, что сделало землетрясение. Особенно поразила меня уцелевшая стена с портретами, — какой-то домашний уют среди щебня.

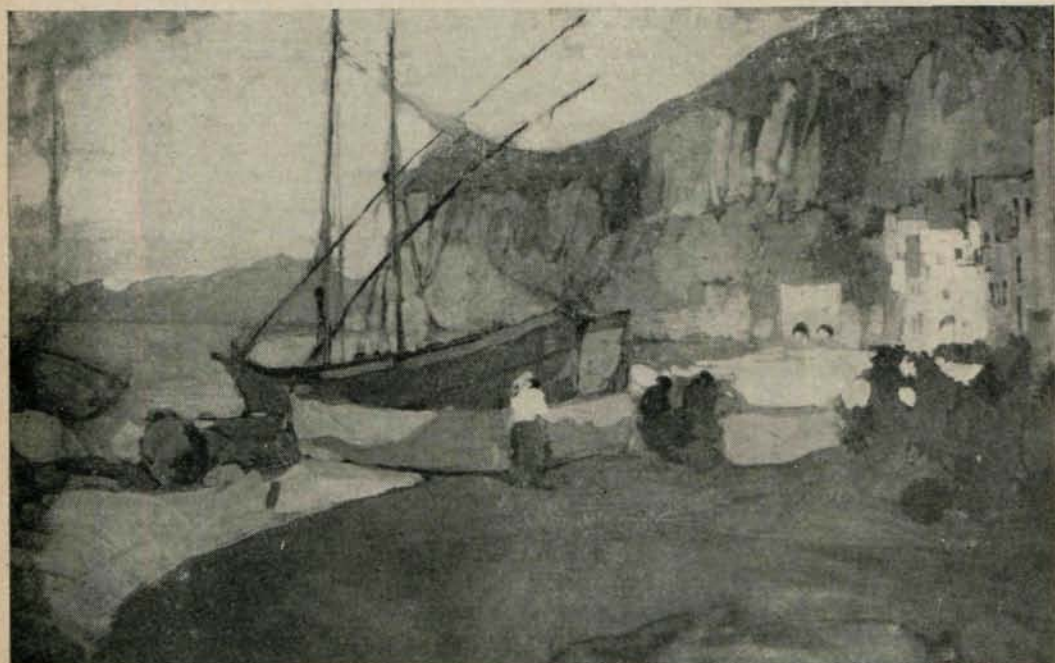
Вернувшись на Капри, мы опять остановились в «Пагано» и опять чуть не каждый день завтракали или обедали у Горьких. Луначарских уже не было. Они вернулись в Неаполь. Зато встретили на вилле Спинола бывшего товарища министра путей сообщения, приятеля первого мужа Марьи Федоровны Желябужского. Это случилось на другой день нашего возвращения. Утром записочка — приглашение к завтраку, с настойчивой просьбой не отказываться: должен завтракать этот самый сановник. Были разосланы гонцы, где могло остановиться такое важное лицо, так как никто не запомнил название отеля. Марья Федоровна волновалась, как бы товарищ Михаил не задал каверзного вопроса гостю, а Михаил все приставал к Яну, чтобы тот спросил его что-то о царе.

Иван Алексеевич решил сесть рядом с Михаилом, чтобы удерживать его, охлаждать пыл. Алексей Максимович, как всегда, до завтрака писал, его никогда не было видно по утрам.

Наконец один из гонцов вручил сановнику записку и передал Марье Федоровне, что согласие получено. Через четверть часа вот и он сам. Маленький, толстый, подтянутый петербуржец с большим твердым лицом, а Горький в кожаной куртке и товарищ Михаил в красной рубашке... Марья Федоровна сразу превратилась в светскую даму, с улыбкой приняла от гостя аршинную коробку самых дорогих конфет и старалась вести беседу, лавируя, когда кто-нибудь вдруг касался острой темы. Товарищ Михаил, сидевший рядом с Яном, не унимался: шептал на ухо, чтобы Иван Алексеевич спросил гостя о царе. Ян, глядя его по плечу, шептал: «Лоретта, Лоретта...» Лоретта — имя попугая, Алексей Максимович любил птиц. У него в тот год было три попугая. Лоретта обладала строптивым характером, часто топорщила перья, и тогда Горький, глядя ее, ласково повторял: «Лоретта, Лоретта», и попугай успокаивался. Хозяин был молчалив, предоставляя Марье Федоровне вести беседу с гостем.

Без Луначарского можно было и другим поговорить. Я в это пребывание слушала Горького, и он мне нравился. Горький один из редких писателей, который любил литературу больше себя. Литературой он жил, хотя интересовался всеми искусствами и науками, и, конечно, иметь собеседником Ивана Алексеевича (которого он всегда и неизменно до самой смерти ценил, несмотря на полный разрыв их отношений) доставляло ему большое удовольствие, и Горький делал все, чтобы удержать нас на Капри.

Мы просиживали у них иногда до позднего часа. Возбужденные, как и до Сицилии, заходили в кабачок, лакомились лангустой с капри-бианко и шли по спящему, пустынному острову куда глаза глядят. Мне иной раз казалось, что мы не в реальной жизни, а в сказочной, особенно когда мы проходили под какими-то навесами, поднимаясь все выше и выше, выходя



КАПРИ. МАРИНА ГРАНДЕ

Рисунок А. И. Кравченко (темпера), 1910—1911 годы

Музей А. М. Горького, Москва

из темноты в лунное сияние. В эти часы велись значительные разговоры. Ян всегда был в ударе. Нужно сказать, что Горький возбуждал его сильно, на многое они смотрели по-разному, но все же *главное* они любили по-настоящему.

Страстную мы провели на Капри и вместе с Горькими видели процессии с фигурами Христа, Марии-девы, слушали пасхальную мессу.

На второй день Святой мы отправились в Рим, оставив опять чемоданы у Горьких.

4

Рим встретил нас синим небом, светло-лиловыми глициниями на серых камнях. И мы с девяти часов утра до девяти вечера были на ногах. У меня был с собою «Рим» Золя. Я только что прочла его. И мы, подобно его герою, прежде всего отправились (как всегда делал Ян) на самую высокую точку города, чтобы иметь представление об общей картине. Остановились мы на Монте Пинчио, в католическом пансионе, где было интересно наблюдать за аббатами, которых мы видели вблизи впервые. Они с какой-то непередаваемой изысканной улыбкой разговаривали с почтенными дамами, вероятно, их духовными дочерьми.

Всю неделю стояла чудная погода. Неделя — слишком малый срок для Рима, и мы, побывав лишь в Сикстинской капелле, решили оставить музеи для следующих приездов. Яна волновала Аппиева дорога — он больше всех апостолов любил и чтит Петра, который шел по ней в Рим. Зато город мы изъездили вдоль и поперек; заходили во многие храмы; в одном на всю жизнь поразил Моисей Микеланджело, — лучшей скульптуры я не знаю. Съездили мы и во Фраскати.

Марья Сергеевна Боткина дала нам письмо к ее семье в Риме. Мы зашли к ним и получили приглашение на обед. В назначенный день мы немного раньше прекратили осмотр города и отправились к ним. Семья состояла из матери, очень почтенной и, видимо, сердечной женщины, и чуть ли не шести дочерей, которые возвращались домой одна за другой, все в синих костюмах с длинными жакетами и в больших соломенных шляпах. Все, кроме одной, были высокие. Они так походили одна на другую, что я с трудом их различала. Квартира была прекрасная, за обедом подавал лакей-итальянец. Они были очень культурные люди, дали нам много хороших советов, сообщили, что в такой-то день будет в соборе св. Петра торжественное богослужение — канонизация Жанны д'Арк, и к кому нужно отправиться за билетами. Но у нас не было ни смокинга, ни черного бархатного платья, ни кружевной испанской косынки для головы.

В этот день на площади св. Петра была густая толпа. Мы все же проникли в собор. И нам посчастливилось: один французский аббат заговорил со мной и предложил два билета. Я отказывалась, указывая на свой серый костюм и бежевую каприйскую пару Ивана Алексеевича, но он настоял, и мы попали на самые почетные места.

Пройдя с билетами на торжественное богослужение, мы все же дальше входа не продвинулись, слишком кругом было парадно. На возвышении стояли дамы в бархатных туалетах с прелестными кружевными косынками на головах и мужчины в визитках.

Сбоку, как раз против нас, в несколько рядов восседали в креслах с высокими спинками кардиналы в парадных одеяниях. И каждое лицо повествовало, — до того оно было значительно и не похоже на других. Орган и папская капелла в два хора с высокими голосами были выше похвал. Мы стояли зачарованные.

После окончания богослужения мы очутились посредине храма. Наш знакомый аббат опять предложил мне билеты, чтобы на следующий день присутствовать на аудиенции и получить папское благословение. Мне хотелось увидеть папу и всю эту церемонию, но Ян воспротивился: мы должны завтра подняться в купол св. Петра и оттуда обозреть Рим и прилегающие к нему окрестности, а послезавтра мы уже покидаем этот город. И мы отказались.

На следующее утро мы побывали в замке Ангела. Позавтракав на площади св. Петра, мы медленно стали подниматься по широкой каменной лестнице, — лифта в тот год еще в соборе не было. На каждой площадке мы останавливались, отдыхали, смотрели на открывавшуюся перед нами все шире и шире страну и все глубже и глубже удаляющийся от нас Рим. Высота купола 138 метров. Ян поднялся во внутрь его.

Погода всю неделю стояла безупречная. И никогда не забыть мне синего римского неба, бледнолиловых глициний на серых камнях развалин, красивых женских лиц с огненными глазами и певучую римскую речь. Ни из одного города так не хотелось мне уезжать, как тогда из Рима, — уж очень он нас гостеприимно принял. Ян утешал:

— Еще не раз приедем сюда. И увидим пропущенное.

Так оно и случилось.

Вернувшись на Капри, мы узнали, что у Марьи Федоровны была небольшая операция, которую она перенесла мужественно, но с большой печалью, — рухнула надежда иметь ребенка от Алексея Максимовича, который, по рассказам, сильно волновался. Операция происходила на дому.

Последнее наше пребывание на Капри было тихое, мы продолжали почти ежедневно бывать у Горьких. Иногда втроем — писатели и я — гуляли. Они часто говорили о Толстом, иногда не соглашались, хотя оба считали его великим, но такой глубокой и беззаветной любви, какая была у Ивана Алексеевича, я у Горького не чувствовала. Алексей Максимович рассказывал о пребывании Льва Николаевича в Крыму, в имении графини Паниной, в дни, когда боялись, что Толстой не перенесет болезни, и о том, как один раз взволнованная Саша Толстая верхом прискакала к нему о чем-то советоваться. Вспоминал он, как однажды видел Льва Николаевича издали, когда тот сидел в одиночестве на берегу:

— Настоящий хозяин! — повторял он, — настоящий хозяин!

Потом, улыбнувшись, сказал: «Если бы я был богом, то сделал бы себе кольцо, в которое вставил бы Капри!»

Мне нравилась его речь. Как-то он зашел к нам в «Пагано». Я была не совсем здорова и лежала за ширмами на кровати. Алексей Максимович с Яном вели беседу, вернее, почти все время говорил Горький. Я слушала его речь, мне хотелось определить, на что она похожа, казалось, — на журчание воды. Она то повышалась, то понижалась, была выразительна, несмотря на однообразие тона. Так он и читал: как будто однообразно, а между тем очень выразительно, выделяя главное, особенно это поражало при его чтении пьес.

Атмосфера, как я уже упомянула, в те дни в их доме была легкая. Марью Федоровну он называл «Хозяйкой» или «Марья». Дела «Знания» шли еще удовлетворительно, несмотря на «Шиповник», на измену Андреева, о котором он говорил без злобы. Сообщил, что в его «Иуде» он отметил ему чуть не сорок ошибок.

Когда вспоминал сына, всегда плакал, но плакал он и глядя на тарантеллу или слушая стихи Яна.

Пил он всегда из очень высокого стакана, не отрываясь, до дна. Сколько бы ни выпил, никогда не пьянел. Кроме асти на праздниках, он пил за столом только французское вино, хотя местные вина можно было доставать замечательные. В еде был умерен, жадности к чему-либо у него не замечала. Одевался просто, но с неким щегольством, все на нем было первосортное. В пиджачной паре я видела его позднее, когда он бывал с нами в Неаполе, а на Капри он носил всегда темные брюки, белую фланелевую рубашку, шведскую кожаную светло-коричневую куртку, а на ногах темные шерстяные или шелковые носки, мягкие туфли. Любил он свою широкополую черную шляпу.

За столом Марья Федоровна, сидевшая рядом с ним, не позволяла ему буквально ничего делать, даже чистила для него грушу, что мне не нравилось, и я дала себе слово, что у нас в доме ничего подобного не будет, тем более что она делала это не просто, а показывая, что ему, великому писателю, нужно *служить*. Раз она спросила меня:

— Сколько лет вы служите Ивану Алексеевичу?

Меня это так удивило и даже рассердило, что я ничего не ответила.

Мы решили возвращаться морем на итальянском пароходе, который до Одессы шел две недели и был дешевле других. И это плаванье на «итальянце» было необыкновенно удачным и приятным. Провожали нас до Гранде Марина все обитатели виллы Спинола, кроме Марьи Федоровны, — она была еще слаба. Когда мы отчалили, то увидели, как Горький легко пере-скакивает с камня на камень. Ян заметил:

— А какая у него осторожная походка! Но он изящен!

Мы в это утро побывали в Помпее. Осмотрели, что полагается. Поразили нас очень глубокие колеи при входе в этот мертвый город. В 1916 году 28 августа Бунин написал сонет «Помпея».

Помпей! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпей
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только древние следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин. Безувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

После беглого осмотра Помпей мы завтракали в ближайшем ресторане, и Ян стал говорить, что он хотел бы написать рассказ об актере, очень знаменитом, всем пресыщенном, съевшем за жизнь большое количество майонеза и под конец своих дней попавшем в Помпею, и как ему уже все безразлично, надоело. Рассказа он этого не написал, но в тот полдень он передал его мне живо, с тонкими подробностями.

Из Помпей мы, захватив на набережной чемоданы, отправились на паром.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Из Е. А. Баратынского — «Отрывки из поэмы „Воспоминания“» (1820).

² «Жизнь Бунина», стр. 169 и 170.

³ С. Кречетов (Сергей Алексеевич Соколов, 1878—1936) — поэт, владелец издательства «Гриф». «Перевал» — журнал декадентского направления (1906—1907).

⁴ О Петре Константиновиче Иванове см. настоящ. кн., стр. 163—164.

⁵ Павел Павлович Муратов (1881—1951) — искусствовед, переводчик, романист; автор книги «Образы Италии», т. 1—2, 1911—1912; полное издание — т. 1—3. Берлин, 1924.

⁶ Александр Арнольдович Койранский (1884 — ?) — художник и поэт, печатался в альманахе «Гриф».

⁷ А. Диесперов — участник журнала «Перев л».

⁸ Муни (Самуил Викторович Кисин; 1888 — ?) — поэт, печатался в «Перевале».

⁹ Борис Александрович Грифцов (1885—1950) — литературовед, искусствовед, переводчик.

¹⁰ Виктор Иванович Стражев (1879—1950) — в молодости поэт, позднее преподаватель литературы, автор учебников для средней школы.

¹¹ Владислав Фелицианович Ходасевич (1886—1939) — см. о нем настоящ. том, кн. 1, стр. 677.

¹² Николай Ефимович Пялков (1877—1918) — поэт и литературный критик.

¹³ Е. М. Лопатина (псевд. — К. Ельдова; 1865—1935) — писательница. О дружбе Бунина с Лопатиной в 1897—1898 гг. см.: «Жизнь Бунина», стр. 105; настоящ. том, кн. 1, стр. 484—485. С Буниным она встречалась и в эмиграции, где жила последние годы. Ее неопубликованный дневник с записями о Бунине хранится в ИРЛИ (Р. I, оп. 15, № 137).

¹⁴ Алексей Алексеевич Муромцев, которого прозвали «раздраженный улан»; В. Н. Бунина писала о нем в другой главе «Бесед с памятью»: «Иван Алексеевич его тронул в „Деревне“ и в „Натали“ («У Буниных в Ефремово»); см. также заметки Бунина «Происхождение моих рассказов» (Собр. соч. 1965—1967, т. 9, стр. 373).

¹⁵ Вера Алексеевна Зайцева (рожд. Орешникова) — жена Б. К. Зайцева, близкая подруга Веры Николаевны.

¹⁶ Дмитрий Николаевич Муромцев, юрист. Умер в Москве, по-видимому, в 1936 г. — покончил самоубийством. Письма В. Н. Буниной к нему из Франции (1934—1936) хранятся в ГМТ и в частном собрании.

- ¹⁷ Алексей Карпович *Джигелегов* (1875—1952) — историк, литературовед, театровед.
- ¹⁸ Зоя Евгеньевна *Шрейдер* — жена художника Шрейдера.
- ¹⁹ Оля и Надя *Иловайские* — дочери историка Д. И. Иловайского. О них рассказывала Марина Цветаева в воспоминаниях «Дом у старого Пимена» («Москва», 1966, № 7). О семье Иловайских см. также: В. М у р о м ц е в а. У старого Пимена. — Газ. «Россия и славянство», Париж, 1931, № 116, 14 февраля; Анастасия Ц в е т а е в а. Воспоминания. М., «Сов. писатель», 1971.
- ²⁰ Павел Николаевич *Муромцев*; потом он стал врачом.
- ²¹ Александр Митрофанович *Федоров* (1868—1949) — романист, поэт и драматург, друг Бунина; эмигрировал из Одессы «месяцем раньше» Бунина (см. газ. «Новая Заря», София, 1933, 16 декабря); до конца своих дней жил в Болгарии.
- ²² Петр Николаевич *Бунин*, брат С. Н. Пушешниковой, двоюродный брат Бунина.
- ²³ См. настоящ. том, кн. 1, стр. 426—428.
- ²⁴ Алексей Николаевич *Бунин* (1827—1906). Умер 5 или 6 декабря. Дата его рождения указана в свидетельстве Орловской духовной консистории от 13 февраля 1843 г.: «... деревни Каменки у помещика Николая Дмитриева сына Бунина сын Алексей родился того 1827 года марта 11 и крещен того ж числа» (Ю. Д. Г о н ч а р о в. Предки И. А. Бунина. — Журнал «Подъем», 1971, № 1, стр. 140; то же в его книге: «Вспоминания Паустовского. Предки Бунина». Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1972, стр. 151).
- ²⁵ Пушешниковы — племянники Бунина: старший — Дмитрий Алексеевич (? — 1954) — юрист; Петр Алексеевич (? — 1945) — зубной врач; Николай Алексеевич (1882—1939), переводчик Киплинга, Голсуорси, Дж. Лондона и Тагора (дневник его опубликован частично в сб.: «В большой семье», стр. 238—253; рукопись в собрании К. П. Пушешниковой). У матери братьев Пушешниковых, Софьи Николаевны (в селе Глодове, Орловской губ.) Бунин часто проводил лето. Софья Николаевна с 1925 по 1939 г. жила в Москве у младшего сына. После его смерти уехала в Орел к сыну Петру. Умерла в 1942 году (сообщено К. П. Пушешниковой).
- ²⁶ Сестра Бунина Мария Алексеевна (1873—1930) и ее муж Иосиф Адамович Ласкаржевский.
- ²⁷ Н. А. *Пушешников*; см. примеч. 25.
- ²⁸ С. П. *Мельгунов* (1880—1957) — редактор журнала «Голос минувшего»; после Октябрьской революции — эмигрант.
- ²⁹ Федор Дмитриевич *Батюшков* (1857—1920) — критик и историк литературы; в 1902—1906 гг. редактор журнала «Мир божий».
- ³⁰ Сын Бунина от первого брака Николай род. 30 августа 1900 г. в Одессе, ум. 16 января 1905 г. там же.
- ³¹ О С. С. Голоушеве (псевд.: Сергей Глаголь) см. «Записки писателя», стр. 43—44.
- ³² Софья Петровна *Кувшинникова* (1847—1907) — художница, приятельница И. И. Левитана.
- ³³ А. Е. *Грушинский* (1858—1930) — литературовед, этнограф и педагог, член «Среды», в 1909—1930 гг. председатель Общества любителей российской словесности.
- ³⁴ Евгений Петрович *Гославский* — писатель, участник «Среды».
- ³⁵ Об И. А. Белоусове см. настоящ. том, кн. 1, стр. 474.
- ³⁶ О Н. Д. Махалове (Разумовском) см. там же, стр. 477.
- ³⁷ О Н. И. Тимковском см. там же, стр. 511.
- ³⁸ См. там же, стр. 535—537.
- ³⁹ Сергей Константинович *Маковский* (1877—1962) — поэт и художественный критик, редактор журнала «Аполлон».
- ⁴⁰ Этот портрет хранится в ГЛМ; негатив — в собрании А. П. Толстякова (Москва).
- ⁴¹ Неточность: сборники «Земля» выпускались «Московским книгоиздательством»; его фактическим владельцем был Г. Г. Блюменберг, номинально же главой издательства числился его отец Г. А. Блюменберг, крупный торговец бумагой. О редактировании Буниным первых двух книг сб. «Земля» см. О. Д. Г о л у б е в а. Литературно-художественные альманахи и сборники. 1900—1911 годы. М., 1957, стр. 324.
- ⁴² В это время отношения между Горьким и Скитальцем ухудшились. Разрыв произошел в конце 1908 г., когда Горький резко осудил новую повесть Скитальца «Этапы»: «в ней автор явился и декадентом в самом печальном смысле этого слова» (Г о р ь к и й, т. 29, стр. 82).
- ⁴³ О дружбе с драматургом Сергеем Александровичем Найденовым (1869—1922) свидетельствуют письма Бунина к нему, неизменно дружеские по тону (ЦГАЛИ).
- ⁴⁴ Николай Павлович *Авбелев* — автор романов, повестей и рассказов, сотрудник журнала «Современный мир». Его переводы из Киплинга опубликованы в издании: «Библиотека иностранных писателей» под редакцией Ив. А. Бунина. Р. Киплинг. Избранные рассказы, кн. 1. Перевод и предисловие Н. П. А., М., «Московское книгоиздательство», 1908; кн. 2, М., 1908.

⁴⁵ Николай Иванович *Иорданский* (1876—1928) — журналист; в 1909—1917 годах редактор журнала «Современный мир», в котором до этого заведовал внешним обозрением; муж Марии Карловны Куприной после ее разрыва с А. И. Куприным.

⁴⁶ Михаил Иванович *Ростовцев* (1870—1952) — профессор классической филологии Петербургского университета. Его жена Софья Михайловна (рожд. Кульчицкая, 1878) — подруга М. К. Куприной-Иорданской.

⁴⁷ Елизавета Морицовна *Куприна* (рожд. Гейнрих, 1882—1942) — вторая жена Куприна.

⁴⁸ Иван Сергеевич *Рукавишников* (1877—1930) — поэт-символист.

⁴⁹ Николай Иванович *Кареев* (1850—1931) — историк и публицист, профессор Петербургского университета.

⁵⁰ Екатерина Павловна *Леткова-Султанова* (1856—1937) — писательница; автор воспоминаний о Тургеневе и Достоевском.

⁵¹ Лев Самойлович *Бакст* (настоящ. фамилия — Розенберг; 1866—1924) — художник, принадлежавший к группе «Мир искусства». В 1909 г. переехал в Париж, где приобрел широкую известность декорациями к спектаклям «Русского балета» С. П. Дягилева. Известен его рисунок — портрет Бунина (Парижский архив Бунина).

⁵² Наталья Васильевна *Крандиевская* (1888—1963) — писательница. См. о ней предисловие В. А. Мануйлова в кн.: *Н. Крандиевская-Толстая. Стихи. Вечерний свет*. Л., 1972.

⁵³ Варвара Ивановна *Иксуль* (рожд. Лутовинова; 1854—1929) — меценатка.

⁵⁴ Елена Андреевна *Телешова* (см. о ней: настоящ. том, кн. 1, стр. 480).

⁵⁵ Об А. А. Карзинкине см. там же, стр. 515.

⁵⁶ А. В. *Орешников* — отец Веры Алексеевны, жены Б. К. Зайцева.

⁵⁷ Установить название этой пьесы И. С. Шмелева не удалось.

⁵⁸ По случаю двадцатипятилетия «службы» А. И. Южина в Малом театре 24 января 1908 г. был дан спектакль «Отелло» (см. «А. И. Южин-Сумбатов». М., 1951, стр. 563).

⁵⁹ Николай Васильевич *Давыдов* (1848—1920) — председатель окружного суда в Москве; председатель театрально-литературного комитета. См. о нем «Записки писателя», стр. 33—36.

⁶⁰ Николай Николаевич *Баженов* (1857—1925) — психиатр, автор книги «Психиатрические беседы на литературные и общественные темы» (М., 1903).

⁶¹ Александр Александрович *Федотов* (1863—1909) — актер Малого театра, режиссер и театральный педагог.

⁶² П. Д. *Долгоруков*, член Второй Государственной думы и председатель кадетской фракции Думы.

⁶³ О журнале «Северное сияние» и участии в нем Бунина см. настоящ. том, кн. 1, стр. 574.

⁶⁴ «Энох Арден» — поэма английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892).

⁶⁵ О Б. И. Эгизе см. настоящ. том, кн. 1, стр. 595.

⁶⁶ Начальная строка стихотворения Гете «Mignon».

⁶⁷ Эммануил Дмитриевич *Воронец* — искусствовед. В конце 1880-х гг. жил в Харькове и входил в народнический кружок, членами которого были Ю. А. Бунин, железнодорожный служащий Федор Александрович Ребинин, отбывший ссылку в Вятской губ., Василий Павлович Лепешинский (дед балерины Ольги Васильевны Лепешинской), а также Литошенко и Позен (сведения о них найти не удалось). В кружке бывал Бунин, приезжавший к брату в 1889 г.

⁶⁸ «Зина» — Зиновий Алексеевич Пешков (Зиновий Михайлович Свердлов; 1884—1966). Некоторые считали его приемным сыном Горького, поскольку он принял фамилию Пешков и отчество Алексеевич. Горький писал 24 апреля 1927 г. А. А. Белозеру: «Зиновий Свердлов не „усыновлен мною“, а крещен, что требовалось для его поступления в филармоническое училище» (Горький, т. 30, стр. 22).

⁶⁹ Мария Сергеевна *Боткина* — художница, дочь С. П. Боткина. Землетрясение, о котором идет речь ниже, произошло в Сицилии в 1908 г. и почти полностью разрушило город Мессину. Бунин написал стихотворение «После мессинского землетрясения», датированное «15.V.09».

⁷⁰ Под именем «Михаила» на Капри жил выдающийся революционер-большевик Николай Ефремович Вилонов (1885—1910). См. очерк А. М. Горького «Михаил Вилонов» (Горький, т. 17, стр. 82—91 и 477—479).

ИЗ ПИСЕМ В. Н. БУНИНОЙ к БУНИНУ. 1906—1915

Сообщение Л. Н. Афонаина

Исследователями почти еще не использована большая по объему (187 писем) и значительная по содержанию корреспонденция В. Н. Бунинной, посланная Бунину в 1906—1915 гг. В ней не только полно раскрывается обаятельная личность самой Веры Николаевны — спутницы и заботливой, самоотверженной помощницы Бунина в течение почти полувека, — но и отражены многие важные факты биографии писателя. В 1906 г., когда начиналась их совместная жизнь, она писала Бунину: «Дорогой мой, как можешь ты сомневаться в моей любви. Только тебя одного люблю я, только тобой и живу в настоящее время <...> Одно мучает меня по временам, — начинает казаться, что ты меня больше не любишь, что ты в деревне почувствовал, что я для тебя такая же маленькая незначительная встреча, каких в твоей жизни было немало. Если есть хоть какое-нибудь основание для подобных подозрений, напиши мне просто, чистосердечно. Ведь что бы там о тебе ни говорили, а я знаю, что ты искренний, что ты не способен ломаться. Как бы тяжело ни было бы мне, мне легче, если ты скажешь обо всем сам, чем если мы разойдемся после многих ссор и неприятностей. Вот все, что хотелось сказать мне. Верь только одному, что я никогда не сделаю тебе ни одного упрека, если ты сразу скажешь мне какую угодно истину»¹. Как свидетельствуют письма Веры Николаевны, далеко не всегда ее отношения с мужем складывались безмятежно. Однако неизменными были ее заботы о Бунине, стремление создать ему наилучшие условия для творческой деятельности. Из писем ее становится известным, что в отсутствие мужа она вела его финансовые дела, встречалась с издателями, держала корректуру бунинских произведений, собирала отзывы о них, покупала и переводила необходимые Бунину книги иностранных авторов. Человек большой культуры, с самостоятельными взглядами на литературу и общественные события, Вера Николаевна нередко писала мужу о политических и литературных новостях, прочитанных книгах, посещениях концертов, лекций, художественных выставок. «Успенский меня восхищает, — признается она в недатированном письме. — Вот особенность: я забываю, как зовут его героев, но обычно вижу их. А ты?» (2959/105). 2 февраля 1907 г. датировано письмо, где Вера Николаевна делится с Буниным своими впечатлениями от впервые прочитанного ею флорберовского «Искушения святого Антония», которое впоследствии она перевела на русский язык: «Прочла „Искушение св. Антония“. Произвело сильное впечатление. Но чтобы разобраться детально, надо прочитать еще несколько раз. Хорошо было бы прочесть вместе с тобой. Ведь там целая философия, и, чтоб хорошо усвоить, нужно кое-что прочитать» (2959/22). Заслуживает внимания ее сообщение о том, что 12 февраля 1907 г. на концерте «Кружка любителей русской музыки» («Керзинский кружок») в Большом зале Дворянского собрания в Москве с успехом исполнялись романсы Рахманинова на слова Бунина: «Вчера мама была на Керзинском вечере. Пелись и игрались произведения Рахманинова. Романс на твои слова „Я опять одинок“ имел большой успех <...> Исполнял Богданович². Кроме этого, тем же исполнителем был пропет романс на слова „Ночь печальна“» (2929/127). 26 мая 1909 г. Вера Николаевна пишет мужу: «Сегодня увижу и услышу Мечникова. Это меня волнует». Вечером того же дня она подробно рассказывает о лекции великого ученого (2959/115 и 104). 3 декабря 1913 г. В. Н. Бунина в Москве познакомилась с Эмилем Верхарном. На другой день она писала мужу: «Вчера была на Верхарне. Он очаровал меня. За ужином я сидела рядом с ним. Он взял наш адрес, хочет тебе прислать книгу свою. Приглашал нас с тобой в Сен-Клу. Познакомил меня со своей женой, очень просто одетой женщиной. Детей у них нет. Они путешествуют вдвоем. Всю лекцию я прекрасно поняла, стихи тоже. И какие чудесные! Мне особенно понравились о дюнах, захотелось в Бельгию» (2959/122).

В письмах, посланных Бунину из Глотова, Вера Николаевна делилась своими деревенскими наблюдениями и размышлениями. 10 декабря 1908 г. она писала о кресте

янских детях: «Остановилась и смотрела, как ребята на своих самодельных санях катались с горы, и веселей еще стало. Сколько жизни, здоровья, энергии было в их лицах и криках. И что ждет их в будущем?.. Голод, унижения... Может быть расстрелы!!» (2959/121). В августе 1911 г. В. Н. Бунина бывала у глотовского долгожителя Таганка, незадолго до того (в июле) описанного в рассказе «Сто восемь» («Древний человек»). 11 августа после пожара на глотовском усадебном гумне она решила пойти к Таганку вместе с Н. А. Пушешниковым. «Отправились. Подошли к избе, спрашиваем „где Таганок?“ — „Да вон он с иконой стоял“. Подошли к его избе, икона стоит, а Таганка нет. Подошел сын и, узнав, в чем дело, повел нас на свое гумно, где был Таганок. Мельком я видела его дом. Не знаю, был ли ты на их гумне? Оно у них очень уютное. За скирдой на соломе сидел Таганок весь в белом и обувал ногу. Рубашка на нем очень грязная, штаны на левом колене продрались, и я увидела его красно-синее тело, показавшееся мне в первую минуту, что это нечто среднее между раной и болячкой. Он нисколько не удивился нашему приходу. Мы сели на солому, в это время выглянуло солнце. Мы заговорили. Он довольно много говорил, но опять о старом, а о пожаре сказал лишь, что гораздо лучше, если сгорит дом, чем солома и хоботья, ибо бедной скотине нечего больше есть. В этом поддержал его сын. Затем он все говорил о прежних господах. Сравнивал прежнее житье и настоящее. Прежнее лучше было. Скотина вся паслась вместе с господской, прежде возьмут хлеба и вернут такой же величиной, а теперь вешают, скоро солому будут брать на вес, говорил он, возмущаясь. Мы посидели, обещали принести гостинец и ушли... Когда спросили его, не хочет ли он „вядчинки“, чтобы мы принесли, он ответил, что теперь пост, да и у них своя есть» (2959/167) ³. 14 августа она сообщает: «Вчера мы опять были у Таганка. Он поразил меня сходством с Толстым. Вчера он был очень чистеньким, он причесался, вымылся, ибо собирался сегодня в церковь. Много говорил. Хвалил прежнее время: „Продовольствия было больше“» (2959/172). 17 августа, прочитав рассказ Бунина, опубликованный тремя днями раньше в «Русском слове», Вера Николаевна пишет: «„108“ прочла. В печати, по-моему, рассказ выиграл... Таганку мы отнесли штаны и рубашку, Наташа говорит, он очень доволен» (2959/182). 29 августа она снова говорит о рассказе: «Я сегодня прочла два раза „108“ — один сама себе, другой — Софье Николаевне, которой понравился, а я нахожу, что это одна из твоих удачных вещей, так много там поэзии, так много она дает читателю. Не думаю, что я пристрастна!» (2959/173).

В письмах Веры Николаевны есть неоднократные упоминания о Горьком. 4 декабря 1913 г. она писала Бунину из Москвы: «Дорогой, золотой мой дружок, получила твое письмо, целую за него. На минутку сделалось неприятно, — всё мы врозь и врозь, так и отвыкнуть недолго. Но я очень рада, что не поехала с тобой прежде всего потому, что у меня гостит, как бы ты думал кто? — Екатерина Павловна. Она приехала с Капри на несколько дней, чтобы разузнать все относительно экзаменов для Максима. Пробудет она, вероятно, до воскресенья. Телеграфируй, когда приедешь, ей хочется тебя повидать, хотя несколько часов. Алексей Максимович здоров. Это верно, что Манухин его вылечил, прямо чудо» (2959/122). К этому письму есть приписка Е. П. Пешковой: «Милый Иван Алексеевич! Неужели я вас не увижу? Когда вернетесь? Выеду не раньше субботы, но и не позднее воскресенья. Крепко жму руку и так рада буду вас увидеть. Е. П.». Получая в отсутствие Бунина письма, адресованные ему Горьким и М. Ф. Андреевой, Вера Николаевна обстоятельно излагала мужу их содержание. 11 августа 1911 г. она сообщает, что пришло письмо «заказное — от М. Ф. Горькой. Обращение: „Милые друзья Ив. Ал. и В. Н.“ (сокращения мои). Пишет, что приближается осень и ей хочется, чтобы мы не изменили плана провести это время в Италии. Кроме того, приезд может быть и не бесплоден. „В русском августе собираются сюда Сытин, Ладыжников, предполагались всякие интересные разговоры, приедет и Тихонов“. „Константин Петрович все там и занимается лишь антикварными приобретениями“. „Лично я была бы вам в высокой степени признательна, Иван Алексеевич, если бы вы собрались сюда не откладывая, о многом писать не хочется — не мастерица я в этом. Кроме всего прочего, и уж как хорошо было, если бы вы были здесь!“ Обещает устроить с удобствами и т. п. Алексей Максимович кончает „Городок Окуров“. Здоровье его неважно. Вот видишь что. Подумай и немедленно ответь ей. Может быть на что-нибудь и решимся»

БУНИН И Н. А. ПУШЕШНИКОВ
В ГЛОТОВЕ

Фотография, 1916

На обороте автограф Бунина:
«Глотово, февраль 1916 г.»

Собрание А. П. Толстякова, Москва



(2959/92). 26 августа 1912 г.: «От Алексея Максимовича письмо тебе очень длинное. Существенного вот что: 1) Книга его сказок отправляется В. В. <Вересаеву.— Л. А.> на днях. 2) Он посвящает тебе „не рассказ, а повесть „Большая любовь“, которую сейчас пишет. 3) Вероятно, с нового года появится новый журнал, который „во многом, действительно, будет новым“. 4) Затем идет разнос „Заветов“. 5), „Я рад, что вы пишете стихи и Саша Черный — тоже“. 6) Был серьезный бронхит. 7) „Помните, вы обещали дать рассказ для сборника в честь Франко? Срок до конца октября, рукопись надо послать по адресу: Австрия, Львов — Lemberg, улица Супинського, 21, Ивану Кривецкому“. 8) Сильно сожалеет Апенского. 9) Радость, что ты собираешься на Капри. „Винограду воз припасем, вина — озеро!“ 10) Длинный рассказ о двух неаполитанках — матери и дочери, пересказывать его не стану — приедешь — прочтешь. 11) „Ада Негри выразила желание познакомиться с русскими стихами — одну книжку послал, — кого бы вы рекомендовали? Пушкина она знает по переводам „русской антологии“. Вот и все» (2959/82). На листке из своего дневника, тоже отправленном Бунину («Вот тебе еще денек, дорогой мой»), Вера Николаевна записала 28 августа 1912 г.: «Пришло письмо от Горького, а также и сказки его, просит Яна переправить их Вересаеву, который скоро приезжает в Москву. Я передам ему лично, а завтра напишу Алексею Максимовичу письмо, чтобы он не беспокоился о судьбе посланных книг» (2959/80).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ГМТ, 2959/124; далее шифры указываются в тексте.

² Александр Владимирович Богданович (1874—1950) — оперный певец, тенор. В 1906—1936 гг. был солистом Большого театра.

³ Частично опубликовано в кн.: «Материалы», стр. 163—164.